Илья Груздев

ГОРЬКИЙ

ОГИЗ
ГОСЛИТИЗДАТ
1946

OPK

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

НГР. 2013

1186427

лся
Ма-
ого
ой.
и
ет,
ю-
де
им
ва
ий,
ль-

т-
а-
а-
л-
ве
ва
ой
ов
ге
сс
о-
я
о-

к
.
,
в

Марьев
19 6/XI 46

Илья Груздев

ГОРЬКИЙ

Биография

ОГИЗ
Государственное издательство
Художественной литературы
Москва · Ленинград
1946

Ш5(2=Р)
Г 901

Ш5(2=Р)6-4Гор
Пересн

УРАЛЬСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
КНИГА ... В ДАР
ОТ _____
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

1186427

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) родился 16/28 марта 1868 года в Нижнем-Новгороде от брака Максима Савватиевича Пешкова, столяра мастерских Волжского пароходства, с мещанкой Варварой Васильевной Кашириной.

М. С. Пешков был, несомненно, человеком способным и хорошо грамотным: еще очень молодым, двадцати двух лет, он получает от Волжского пароходства должность управляющего пароходной конторой в Астрахани. Но в этом городе Пешковы прожили недолго. Через год, в 1872 году, Максим Савватиевич умирает от холеры, и после его смерти вдова с четырехлетним сыном возвращается на родину, в Нижний, в дом своего отца, Василия Васильевича Каширина, владельца красильного заведения.

Здесь началась для мальчика новая жизнь, в корне отличная от дружной и складной жизни Пешковых в Астрахани. Безогляд[illegible]ное озорство, драки, издевательство над слабыми, бессмысленная, пьяная жестокость — черты быта мелкого мещанства того времени. Этот быт царил и в семействе Каширина, хозяина предприятия, в котором работали и два его взрослых сына. Развитие механической хлопчатобумажной промышленности и распространение ситцевых фабрикатов вытесняли в ту пору ручное домашнее ткачество, а вместе с ним и красильный промысел такого же типа. Этот процесс тяжело давил на семью Кашириных, вызывая отчаянные попытки каждого из рабочих членов семьи удержать для себя остатки когда-то выгоднейшего предприятия, вызывая жестокие свары и драки.

Только одно лицо в семье Кашириных выделялось как светлое явление на общем мрачном фоне жестокого быта. Это была бабушка Горького, Акулина Ивановна Каширина,

эпический, незабываемый образ которой он дал в своей автобиографической повести «Детство».

А. И. Каширина в молодости была балахнинской кружевницей, кружевницы эти славились в равной мере и своим ремеслом и своими песнями. Память ее удерживала огромное количество стихов, и мальчик любил слушать ее, когда она сказывала о том, как «богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу князь-барыню Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея Божьего человека, про Ивана Воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-Козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе-Посаднице, о бабе Усте, атамане разбойников, о Марии-грешнице египетской, о печалях матери разбойников. . .»

Бабушка сроднила его с народным творчеством, его поэтическими образами и глубокими мыслями. А по высокому строю своей души она на всю жизнь осталась для Горького, по его словам, «другом самым близким сердцу, самым понятным и дорогим человеком».

Мать не имела большого влияния на жизнь сына. Она подолгу уходила из семьи Кашириных, оставляя его на попечении деда. Шести лет Горький обучался у него церковнославянской грамоте по Псалтырю и Часослову, так учили еще во времена Удельной и Московской Руси. Дед был доволен успехами внука, находя, что память у него «лошадиная», — колоритные сцены этого обучения даны в «Детстве».

Однако и мать приложила свою руку к его обучению. В одно из своих возвращений в семью, когда старик Каширин уже разделился со своими сыновьями, Варвара Васильевна энергично принялась учить сына на свой лад. «Купила книжки, — вспоминал Горький, — и по одной из них — «Родному Слову» [1] — я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения. . . Она стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова. . . ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное». Эта борьба с книжными стихами была первым словесным творчеством Горького в очень неудобной для автора обстановке, сопровождавшимся недовольством и наказаниями.

[1] «Родное Слово» — книга для начального обучения в земских школах, составленная знаменитым русским педагогом К. Д. Ушинским. *И. Г.*

В то же время словесность не книжную, народную, то, что он слышал от бабушки, — сказки, были и песни, — Горький запоминал легко и в очень больших объемах. Когда в 1878 году нижегородский епископ Хрисанф приехал на урок в Слободско-Кунавинское начальное училище, он с удивлением отметил ученика Пешкова Алексея, который мог ему на память говорить стихами народные сказания и жития.

Слободско-Кунавинское училище, в котором учился Горький в течение зимы 1877—78 г., было типичной для того времени «приходской» школой для городской бедноты, — последним низшим звеном в сословной образовательной системе буржуазно-дворянской России. Но и эта, первая для Горького, ступень обламывалась, — в жизнь его все более мощно вторгалась улица. Когда-то бойкий красильщик к этому времени совершенно разорился и был «декассирован» вконец. Он жил теперь в беднейшей части города, за рекой, в Кунавинской слободе, снимая тесную каморку, и, находясь на пороге нищенства, превратился в несусветного скрягу.

Чтобы как-нибудь помочь бабушке, мальчик промышлял ветошничеством: по праздникам и в будни после школы отправлялся по дворам и улицам Кунавинской слободы собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди.

По окончании года учения Горький получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете, книжку без переплета с «непонятным» названием «Фата-Моргана» и похвальный лист.

«Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку к себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал: — Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и.. — Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства».

Этот похвальный лист сохранился. Среди прочих «озорных» надписей поверх текста, гласившего, что училище «одобряет отличные пред прочими успехи в науках ученика Алексея Пешкова», написано: Наше свинское Кунавинское, — это первое, что дошло до нас, написанное рукою Горького.

На этом Горький и расстался с училищем, «курса в оном по бедности не окончил», как значилось впоследствии в документах о нем.

Осенью 1878 года его отдают в «мальчики» при магазине обуви купца Порхунова на Большой Покровской улице, главной улице Нижнего. Помимо службы в магазине, он исполнял и всякую домашнюю работу, как это водилось у лавочников. Прослужив зиму, он обварил себе руки кипящими щами, и таким образом первая его служба «в людях» кончилась больницей.

Новое место для него нашлось в семье чертежника и подрядчика строительных работ Сергеева. Ремеслу чертежника его, однако, не учили, а вместо того исполнял он обязанности горничной, судомойки и мальчика на посылках у двух сварливых баб-хозяек. Горький чистил самовар и медную посуду, по субботам мыл полы во всей квартире и обе лестницы, колол и носил дрова для печей, чистил овощи, няньчил детей, ходил с хозяйкой по базару, таская за ней корзину с покупками, служил на побегушках. «Работал я много, — вспоминал он, — почти до отупения, будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом».

Режим дома Сергеевых и обилие работы не позволяли Горькому отлучаться из дому. Но хозяева заставляли его ходить в церковь, и случилось так, что церковь стала почти единственным местом, где он был предоставлен самому себе. Но выстаивая долгие всенощные и обедни, он не молился, а сочинял свои «молитвы», — сами собой, без усилий, слова слагались в стихи о том, что скучно ему, «хоть бы уж скорее вырасти», что «жить — терпенья нет», что «из ученья — не выходит толку», что хозяйка, «чортова кукла», «рычит волком» и что «жить — очень солоно».

И разговор с хозяевами «зуб за зуб», и взрывы ребячьего озорства, и страстные молитвы-жалобы, и горячие неясные мечты где-нибудь в темном углу церкви, — все это было способом отстоять себя, свою личность в этой обезличивающей, мутной жизни. А свою пытливость к миру он мог удовлетворять тоже своеобразно, когда стояние за всенощной ему удавалось заменять прогулками под зимними звездами среди пустынных улиц города: можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешаны были изнутри.

«Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, — предо мной, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь». Дома же он жил «в тумане отупляющей тоски», там «застывшее однооб-

разие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку». «Иногда мне думается: надо убежать. Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, — куда убежишь?»

Весной он убежал. Стыдясь вернуться к бабушке, которой он обещал «потерпеть, пока окрепнет», Горький не пошел домой, а очутился на набережной широко разлившейся, весенней Волги. Там и стал он жить, питаясь около крючников и ночуя с ними на пристанях. Там же он нашел себе новое место — «младшего посудника» на пароходе, делавшем рейсы между Нижним и Пермью. На его обязанности лежало: мыть посуду, чистить ножи и вилки от шести часов утра до полуночи.

Здесь Горькому посчастливилось: его непосредственный начальник, пароходный повар, стал его «первым учителем».

2

Гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый имел большое пристрастие к книге и всегда возил с собой сундук, содержавший, по словам Горького, «самую странную библиотеку в мире». Эккартсгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф — с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке. Все это без особого выбора Смурый заставлял Горького читать ему вслух. Страстный любитель книги, Смурый, однако, плохо разбирался в ней. Больше всего у него было книг XVIII века, «те уже никому не нужные книги, которые подсовывали малограмотному читателю жуликоватые букинисты», — по замечанию В. А. Десницкого. Но важно было то, что Смурый своей бескорыстной приверженностью к книге возбудил у Горького огромный интерес к чтению, заставил его «убедиться в великом значении книги и полюбить ее».

Среди книг Смурого попадались и произведения классической литературы. Так, потрясающее впечатление на чтеца и на слушателя произвела повесть Гоголя «Тарас Бульба».

Встреча со Смурым оказала глубокое влияние на жизнь Горького. Страсть к чтению с тех пор не оставляла его. Вернувшись на службу к Сергееву, он стал теперь читать все, что попадалось под руку. Эта страсть принесла ему и небывалые наслаждения и много тяжких обид. В доме Сергеева

чтение преследовалось как вредное занятие. С большим риском доставая книги, Горький забирался на чердак, в сарай, пытался читать ночью при свете луны или самодельного светильника, — свечи были для него недоступной роскошью.

Что же читал Горький? В ту пору общественные библиотеки были завалены особой литературой, имевшей огромный успех: то были «авантюрные» романы преимущественно французских писателей, ведущие свое начало от романов Дюма.

Естественно, что когда Горький-подросток дорвался до книги, то первой же книгой, полученной им из общественной библиотеки Нижнего, был один из романов этой литературы — «Трагедии Парижа» Ксавье де Монтепена.

Роман этот поразил и пленил мальчика несходством изображенной там жизни с жизнью окружавшей его среды. Но страх за судьбу «дорогих» библиотечных книг заставил его отказаться от них и обратиться к копеечной лубочной литературе. Однако такие «великие произведения», как «Гуак, или непреоборимая верность», «Франциль Венецианец», «Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга», своей нескромностью с правдой возбуждали у него злую досаду. «Казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тягучими словами невероятные вещи».

Больше нравились исторические повести, лубочные переделки романов Масальского, Загоскина, Зотова, Лажечникова, увлекали жития святых. «Здесь было что-то серьезное, чему верилось, и что порою глубоко волновало. Великомученики напоминали сму «Хорошее дело», постояльца Каширинных, великомученицы — бабушку, а преподобные — деда в его хорошие часы. Характерно для Горького-мальчика такое постоянное сопоставление книги и жизни.

Это чтение не давало, однако, сколько-нибудь ощутительного утоления духовного голода. Романы, пленившие Горького неукротимой энергией своих героев, превратностью их судеб и стремительным движением событий, оставались для него недоступными, но он обнаружил новую ценность: старые иллюстрированные журналы, принадлежавшие хозяевам. «Они, получая «Ниву» ради выкроек и премий, не читали се, но, просмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома «Живописного Обозрения». Когда я мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода». Отчаянной настойчивостью он добился права брать журналы на кухню и читал их ночью.

«Огня мне не давали, унося свечку в комнаты, денег на покупку свеч у меня не было; тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь. Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним. Эти иллюстрации раздвигали предо мной землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей».

Жизнь чудесно разрасталась, становилась ярче, значительнее. «Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня».

«Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, до рвоты — вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить». А романы показывали иную жизнь, жизнь больших страстей и желаний.

«Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу».

Но настоящее обаяние художественной прозы Горький испытал, когда попались ему в руки книги Бальзака, Э. Гонкура, Флобера, Стендаля.

«Помню, — «Простое сердце» Флобера я читал в Троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, — так взволновали меня?..»

Эта встреча с великими реалистами была целой эпохой в сознании Горького. Стремительное расширение круга чтения шло далее уже непрерывно. Пушкин изумил его «простотой и музыкой стиха», «полнозвучные строки стихов запомина-

лись удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они... стихи звучали, как благовест новой жизни». Беранже пленил его «странно-тесной связью едкого горя с буйным весельем», возбудив «неукротимое веселье, желанье озорничать, говорить всем людям дерзкие, острые слова». Затем последовали Аксаков, Печерский, Тургенев, Веневитинов, Одоевский, Тютчев... «От этих книг на душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле — и не пропаду!»

Однако очень пылкой должна была быть эта надежда «не пропасть», особенно в минуты, когда резко противостоял ей неодолимо враждебный мир. «Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое и пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах — тяжелый и тупой запах пота, жира и конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, бежать куда-то и удариться головой с разбега о первую стену».

Такую тяжелую память оставил у Горького нижегородский Гостиный двор, где, после трехлетней службы у Сергеева, он служит продавцом в иконной лавке купца Салабанова. Немногим лучше было и в иконописной мастерской того же хозяина, — Горький должен был там работать вечерами. Однако новым было то, что здесь Горький впервые почувствовал себя в трудовом коллективе и, еще будучи подростком, среди людей в большинстве много старше его, ощутил потребность быть нужным людям, нести им свои знания.

Тягостная скука царила и в мастерской. Работа иконописцев была разделена на длинный ряд отдельных механических действий, «неспособных возбудить любовь к делу, интерес к нему». Иногда Горькому удавалось разрядить несколько эту скуку своими рассказами. Как рассказчика и чтеца его ценили. Он читал мастерам все, что попадалось под руку, — рассказы Голицынского, романы Булгарина, барона Брамбеуса, Рафаила Зотова, — все, что нашлось в сундучке одного из иконописцев. Достали Лермонтова, чтение которого произвело огромное впечатление.

И все же одолевал и отталкивал темный быт мастерской, тягучее пьянство, злые ссоры и драки. «Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку,

развариваюсь в ней. Думалось: неужели вся жизнь такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?»

Уйдя из мастерской, он снова поступает на службу к Сергееву, работает у него десятником на ярмарочных постройках, живет среди артельных рабочих из деревень — плотников и каменщиков. Он стремится допытаться и здесь до сути этих, не всегда понятных ему людей. Будучи свидетелем того, как при неудачах такие люди опускались «на дно» городской жизни, Горький сам ходит в Миллионную улицу, присматриваясь к населяющим ее босякам.

«Все это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов, но это не смущало меня, — я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан серыми нитками...» Но ни среди людей, отломившихся от жизни, ни среди людей, которые твердо уверены были в словно для них установленном порядке жизни, которым копейка служила солнцем в небесах, не находил он себе места, и его короткий еще жизненный путь кончался неутешительным итогом.

«Лет пятнадцати, — вспоминает Горький, — я чувствовал себя на земле очень не крепко, не стойко, все подо мною как будто покачивалось, проваливалось и особенно смущало меня незаметно родившееся в груди чувство нерасположения к людям».

Он поступает в ярмарочный театр статистом.

«Влюбленные виконты и маркизы, несчастный актер Яковлев, героический Несчастливцев, дон Сезар де-Базан, Карл Моор, разбойники, бояре, купцы и Квазимодо, — все эти плохо сшитые кошели, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам. Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений».

Весь этот пестрый и громоздкий запас впечатлений, — подлинная жизнь Нижнего с удушьем его купеческо-мещанского быта, с порабощенным трудом на «хозяев жизни», и жизнь книжная, вымышленная, романтическая, зовущая к высоким деяниям, — все это спуталось, переплелось в сознании

Горького, внушая ему сильные, хотя и противоречивые порывы.

Крещеный романтикой книг, он искал какой-то ясной правды — «твердой и прямой, как шпага»: вооружиться бы ею и уверенно итти сквозь хаос противоречий! Но противоречия казались неодолимыми. Жизнь обнажила перед ним много мерзости и грязи, он начинал относиться к людям подозрительно, с отвращением и бессильной жалостью, стремился отойти в сторону, мечтал о «тихой одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города». И в то же время, чем мрачнее казалась мерзость жизни, чем могущественней была сила «будничного», тем сильнее и неуклоннее рос в нем импульс борьбы. И тогда он, — не медля, без отступления, — «как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию» — и при враждебном натиске этой силы «напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки».

Но силы все же были очень неравные, и все чаще ему думалось:

«Надобно что-нибудь делать с собой, а то — пропаду...»

Повесть «В людях» рассказывает об этих поисках выхода из казавшегося порою непреодолимым жестоко-тяжкого мещанского мира. К 16-ти годам у Горького созрело решение пробиться к учению, к университету, сделать своего рода «прыжок из царства необходимости в царство свободы», хотя это было всего лишь переездом из Нижнего в Казань и хотя именно в Казани-то ему и представилась полная возможность «пропасть».

5

По приезде в Казань Горькому стало ясно, что об университете нечего и думать. Началась отчаянная борьба за существование. На первое время Горького приютила семья знакомого по Нижнему гимназиста, семья эта сама жила впроголодь. С утра уходил он на поиски работы, а в непогоду отсиживался на пустыре, в обширном подвале полуразрушенного здания, где жили и умирали бездомные собаки. «Там... под шум ливня и вздохи ветра я скоро догадался, что университет — фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию... Очень мне памятен этот подвал, один из моих университетов».

В поисках заработка Горький ходит на Волгу, к пристаням, работает на Устье, пилит дрова, таскает грузы и живет среди босяков — людей, которые своей психологией и бытом заинтересовали его еще в Нижнем, на «Миллионке». Но там Горький был только наблюдателем, здесь он вплотную сблизился с ними, сжился с этой средой.

То было время тягчайшего экономического кризиса. Масса безработных рабочих, безземельных крестьян, обнищавших голяков бродила из конца в конец страны в поисках работы и хлеба. Они населяли городские сады, прибрежные ямы и расщелины, жили на плотах, под мостами, на пристанях, в базарных ларях, спали в старых вагонах, в сараях и разных складах или просто жили «у генерала Лопухова», то есть под лопухом, в канаве. Явление было одинаковым на огромном пространстве страны, хотя люди в разных местах назывались по-разному: голяки, зимогоры, раклы, посадские, горчишники, жулябия, жиганы, дикари, кадеты, ночные птицы, мартышки, скакуны, галахи, с объединяющим названием — «золотая рота».

В Казани, в большом портовом городе, в эти годы на 120 тысяч населения приходилось до 20 тысяч людей, ввергнутых в эту ожесточенную борьбу за жизнь. В их среде оказался Горький, когда обнаружилось, что его мечты об учении обернулись химерой, и место замкнутого и чопорного университета заняли открытые и широкодоступные казанские трущобы и пристани.

«Там, среди грузчиков, босяков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, — каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мной вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов, — мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду». Нудная и душная жизнь мещан вызывала в Горьком острую ненависть, «авантюрные» романы внушали ему мечты «о необыкновенных приключениях и подвигах». Среди таких впечатлений убогая, полная невзгод, но все же вольная жизнь босяков горячо будоражила воображение юноши-Горького.

«По всей логике испытанного мною, — вспоминал Горький, — было бы вполне естественно, если бы я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться — тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я

чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, итти по которой я был обречен. Кроме «бульварных» романов я уже прочитал не мало серьезных книг, — они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел».

Приль нуть к «чему-то неясному, но более значительному» он получил возможность, когда случайные знакомства дали ему доступ в бакалейную лавочку казанского мещанина Андрея Степановича Деренкова.

Лавочка эта была необычная. В квартире ее хозяина, тут же, при лавке, в сокровенном чулане, скрыта была «нелегальная» библиотека, постепенно, годами собиравшаяся казанской молодежью. Деренков, распропагандированный студентами, охотно предоставлял свою квартиру для шумных собраний и споров радикально настроенной молодежи. Помещение было удобно — каждый мог пройти под видом покупателя, и полиция долго не подозревала о «преступном» характере бакалейной лавочки.

И вот Горький присутствует на шумных сборищах людей, которые «жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шопота по углам».

Впечатления Горького были тем сильнее, что не только речи, но и самый тип людей был им невиданный. «Впервые, — вспоминал он впоследствии, — увидал я людей, жизненные интересы которых простирались дальше забот о личной сытости, об устройстве личной спокойной жизни, людей, которые прекрасно, с полным знанием каторжной жизни трудового народа говорили о необходимости и верили в возможность изменить эту жизнь».

Весь личный жизненный опыт Горького, казалось ему, совпадал с этими усилиями. «Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу».

О чем же спорила казанская молодежь в лавочке Деренкова? Это были споры между разными толками народни-

ческого движения, беспочвенные по большей части споры людей, революционно настроенных, но не видевших главного, того, что основной силой революции станет пролетариат. Это были остатки народнического и народовольческого движения, все более и более распылявшегося.

Легальное народничество, имевшее в 70-х годах своим органом журнал «Отечественные записки» и строившее свое учение на основе укрепления крестьянских «общинных идеалов», теперь, в эпоху сильнейшего разложения деревни, не давало уже больше никакой сколько-нибудь действенной и непротиворечивой программы.

Революционное народничество, стремившееся поднять крестьянство на социальную революцию и, в процессе своего распада, завершившееся образованием «Народной воли», потерпело полное крушение. Банкротство политики индивидуального террора с ее методами борьбы, исключавшими всякую опору в массах и всякую возможность организации массовой партии, привело к разгрому «Народной воли» в 1882—1884 годах. И хотя на екатеринославском народовольческом съезде в 1885 году и велись еще речи о том, что «борьба вступила в длительную фазу» и что «должна вестись широкая литературная пропагандистская и агитационная работа для подготовления общества и широких масс», но, в сущности, это была уже программа пропаганды среди либеральных элементов «общества» и среди людей с весьма общим «радикальным» настроением. Оставалась еще работа в кружках учащейся молодежи, студенческой, семинарской, учительских институтов, в кружках, начинавших с самообразования и переходивших к политике, получивших к тому времени широкое распространение как в губернских городах, так и в более глухих углах.

Такого рода «кружки саморазвития», возникавшие еще с 60-х годов, «революционными» можно было считать лишь условно. Учащаяся молодежь, сторонясь официальной, казенной науки, вырабатывала свои методы политической учебы. Столь же непосредственной реакцией молодежи на систематическое запрещение и изъятие из школьных, университетских и общественных библиотек просветительного наследия 60-х годов была и организация повсеместно «нелегальных» библиотек.

Одной из библиотек такого рода в Казани и была библиотека при лавочке Деренкова. «Часть ее книг, — вспоминает Горький, — была переписана пером в толстые тетради, — таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?»

Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-голод», «Хитрая механика», — все эти рукописи были очень зачитаны, измяты». Основное же ядро ее составляли тщательно подобранные публицистические статьи радикальных журналов.

Казанские кружки получили особое развитие как вследствие наличия в Казани нескольких учебных заведений, в том числе одного из старейших провинциальных университетов, так и вследствие того, что Казань стояла на пути сибирской политической ссылки, и возникавшие на этой почве связи заостряли политические интересы кружков.

Занятиями руководили старшие товарищи из наиболее начитанных. Члены кружков собирались раза два в неделю для совместного чтения и освоения политической литературы, на темы которой члены кружка после писали рефераты. Выступил с рефератом на одном из кружков и Горький. Однако чтение им реферата об «Азбуке социальных наук» Флеровского кончилось, по его словам, «очень скандально: вместо простого изложения популярной у народнической молодежи книги он выставил свой тезис, не соглашаясь с культурной ролью пастушеских и мирных племен» и предпочитая им племена охотников и буянов, за что и был «жестоко высмеян» местными авторитетами.

Народники-руководители свято хранили и отстаивали веру в то, что мирное расширение прав крестьянской общины и укрепление «общинных идеалов» явится прямым переходом к социализму в силу высоких этических свойств русского мужика, «прирожденного социалиста».

Эта абстрактная догма народников казалась Горькому все более резко противоречащей его реальному жизненному опыту. «Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория...» Но зато теперь, после чтения книг «нелегальной» библиотеки и после конспиративных кружковых бесед Горький знал, что «давно и повсеместно делались попытки изменить порядок жизни, что и теперь кое-кто пробует на этом свои силы».

Применить собственные силы на этом деле ему представилась возможность, когда он, после года жизни в Казани, проведенного в тяжких и едких переживаниях среди босяков, в скитаниях по ночлежным домам и пристаням, после жизни

в трущобе «Марусовка», нашел, наконец, себе постоянное «место», без которого жизнь стала для него более невозможной. Это было место крендельщика в булочной казанского купца Семенова.

1

Темный, закоптелый подвал крендельной мастерской словно глухой стеной заслонил от Горького шумный мир горячих речей, к которым он так жадно прислушивался. Отголоском этих речей была и та «пропаганда», с которою он обращался к своим товарищам по работе.

«Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни».

Один из крендельщиков отнесся к нему дружески и сердечно, не придавая, впрочем, значения его «пропаганде»; другие смотрели на него как на блаженного и чудака, в лучшем случае — как на забавного рассказчика.

Они дали Горькому точное понятие о его новом хозяине: «Он — озорник, любит издеваться над людьми для забавы и чтобы показать свою власть; он жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни — требуха... а работы требует семь мешков каждый день, — в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа».

Но кулацко-патриархальные скрепы были еще столь сильны, что и при такой изнуряющей эксплоатации еще не изжиты были у закабаленного полукрестьянина-полуработчего представления о том, что «хозяин» — «свой брат», только более удачливый, что хозяин — «кормит», что «надобно стараться... чей хлеб едим?» «Я порою, — вспоминал Горький, — ощущал вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина».

Вместе с рабочими Семенова Горький работал и в других крендельных города, «хозяева, получив большой и срочный заказ на товар, «занимали» рабочих друг у друга». Он наблюдал жизнь сотни крендельщиков и всюду видел ту же печать бытовой приниженности и дикости.

Чтением и беседой Горький стремился внушить товарищам по работе «надежду на возможность иной, более легкой

и осмысленной жизни». «Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, — я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его».

Однако действительная надежда на возможность иной жизни ковалась историей другими путями, не «просвещением» по народнической программе. Жизнь в подвале Семенова, хозяина со всеми приемами чудовищной эксплоатации, силою самих вещей толкала Горького на эти другие пути, и недаром впоследствии, в полемике с народническим пониманием политической работы, он писал: «Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа, меня марксизму обучал лучше и больше книг казанский булочник Семенов».

Когда хозяин еще более ухудшил условия труда, Горький воспользовался возмущением товарищей, чтобы убедить их добиться стачкой облегчения работы. Пример был перед глазами, незадолго до того прогремела всполошившая и правительство и «общество» Морозовская стачка. Однако такой способ борьбы за интересы эксплоатируемых, как стачка, не признавался казанскими народниками, и значения Морозовской стачки они не поняли, отнеслись к ней безразлично, а некоторые и отрицательно. И Горький был здесь одинок, пришел к этому вопреки своим учителям, потому что действительно уже так к тому времени была «выдублена кожа».

Сцена стачки в повести «Хозяин», когда забитые, еще связанные всеми предрассудками деревни рабочие поднимаются в свою защиту, является единственной в русской литературе и исключительной силы художественной иллюстрацией к этому раннему периоду зарождения пролетарской борьбы.

Конец этой автобиографической повести известен: хозяин, заинтересованный в том, чтобы удержать рабочих, встречается с ними в трактире, «ставит» пиво и обходит их примиряющими речами об их, якобы, общей близости: «Мы — свои люди... Мы тут почитай все — одной семьи, одной волости...» И от этой мнимой близости «хозяина — своего брата» «окончательно размякли, растаяли жадные на ласку, обворованные жизнью человечьи сердца». Характеризуя «средневековые формы эксплоатации», В. И. Ленин писал о том, что они «были прикрыты л и ч н ы м и отношениями господина к его подданному, местного кулака и скупщика к местным крестьянам и кустарям, патриархального «скром-

ного и бородатого миллионера» к его «ребятам»... (том I, стр. 278).

Когда выяснилось, что Горькому больше уже не место в мастерской Семенова, он уходит оттуда, служит дворником и садовником, потом хористом в местной опере, был бы вынужден искать и другие возможные профессии, если бы не помогли старые связи.

Андрей Деренков, попрежнему искренно сочувствовавший радикально настроенной молодежи, придумал открыть в помощь ей булочную. Эта странная, на первый взгляд, затея вполне удалась. Номинальным хозяином булочной числился Деренков, а фактическими хозяевами, ведавшими распределение дохода, были представители студенческих кружков. Горькому, как имевшему уже известный профессиональный опыт, было предложено занять место «подручного» пекаря. В качестве «своего человека» он должен был, кроме того, следить, чтобы пекарь не воровал товар.

Впрочем, то обстоятельство, что Горький был в булочной «своим человеком», не освобождало его от большой и тяжелой физической работы.

«Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлебы в печь».

Однако чрезвычайная важность этой новой жизненной перемены была для него в том, что новое приближение к студенческой среде было приближением к источнику знаний, источнику, который должен был дать разъяснение мучительным поискам мысли, и он снова «бросился на книги, как голодный на хлеб».

Несомненно, что в эти казанские годы Горьким был освоен весь популярный у молодежи того времени круг просветительной и научной литературы 60—70-х годов и что именно в эту еще пору возникло у Горького то, характерное для него, темпераментно-страстное отношение к науке, та непоколебимая вера в ее бесконечное могущество, которые и остались у него на всю жизнь.

Возобновилась и близость к кружковым собраниям и спорам, аналогичным тем, что происходили ранее в квартире при бакалейной лавочке Деренкова.

Когда через два года возникло первое политическое дело о Горьком, казанские жандармы охарактеризовали булочную Деренкова как предприятие, открытое «с весьма подозрительными целями, сущность коих, однако, не представлялось возможности выяснить». Дознались только, что булочная слу-

жила «местом подозрительных сборищ учащейся молодежи, занимавшейся там, между прочим, совместным чтением тенденциозных статей и сочинений для саморазвития в противоправительственном духе, в чем участвовал и Алексей Пешков».

Кружковая жизнь, однако, не удовлетворяла Горького. Как и всегда, наряду с книгами и не менее книг интересовали Горького люди. Он выходит за пределы круга студентов-народников, и в те редкие дни, когда ему выпадало больше времени, он завязывает знакомства среди рабочих фабрик Крестовникова и Алафузова. Двух из казанских рабочих того времени, Никиту Рубцова и Якова Шапошникова, он изобразил в «Моих университетах». Избитые жизнью, изуродованные «азиатской» эксплоатацией, умирающий от чахотки слесарь и слепнущий ткач, один с яростной ненавистью к богу, другой — еще с некоторыми упованиями на царя, который даст «управу на хозяина», — оба они были представителями того смутного и еще не оформившегося брожения в пролетариате, которое было характерно для времени первого пробуждения его классового сознания.

Жадно искал Горький встреч с людьми и другим формаций. «Влекло меня тогда к людям «со странностями», — писал мне А. М., — что было законно для человека, который, имея уже довольно пестрый и угловатый запас впечатлений, случайно попал в окружение людей отлично, а все же несколько однообразно вытюменных тяжкими идеями народопоклонничества».

А в среде казанской молодежи весьма цепки были еще эти «тяжкие идеи», несмотря на то, что жизнь уже до основания расшатала их устои. И народники все еще «анафематствовали», проклинали всех инакомыслящих или сомневающихся; иллюстрацией к этому может служить в «Моих университетах» сцена чтения книги Плеханова «Наши разногласия», с фанатическими нападками ортодоксальных народников на автора книги.

Чтение это, на котором присутствовал Горький, происходило в августе 1887 года, в конспиративных условиях за городом. Здесь, на собрании «правоверных», Горький встретился и с «еретиком».

Это был Федосеев, один из первых марксистов в России, о котором В. И. Ленин писал впоследствии: «...Для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму

несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» (том XXVII, стр. 377).

Горький так вспоминает о своем знакомстве с Федосеевым в день чтения книги Плеханова:

«... Идя со мной полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал:

— Слышал я об этой булочной вашей, — странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова; крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать как и где мы встретимся».

Встретиться с Федосеевым на общей работе Горькому не пришлось. Этот талантливый юноша свою деятельность по организации марксистских кружков в Казани развил только в следующем году, когда Горького в Казани уже не было. И в это же время Ленин, получив в 1888 году, после высылки из Казани, возможность снова вернуться туда, изучая здесь «Капитал» Маркса, завязав связи с кружком Федосеева, заложил основы своего революционного мировоззрения.

Повороты жизненного пути Горького не дали ему ни прочной связи с Федосеевым, ни знакомства в то время с Лениным. С осени 1887 года жизнь его все более стала заходить в тупик. Усиленной работой мысли и страстными поисками выхода к другой жизни он был слишком оторван от рабочих той среды, в соприкосновение с которой ставила его жизнь; в среде студентов-народников он был не равным человеком, а лишь «самородком», «сыном народа», был для них как бы живым свидетельством уже найденных ими истин. Друзей в этой среде у Горького не было. Люди, у которых слова расходились с делом, которые любовались своей «революционностью», а на него смотрели, главным образом, как на «материал, подлежащий обработке», не возбуждали его симпатии, не вызывали на откровенность. Состояние отчуждения и одиночества охватывало его все более, а годы чрезмерной физической работы в соединении с напряженной эмоциональной жизнью подорвали и ослабили его душевные силы. Весь противостоящий ему мир в его будничной тяжкой обстановке противоречил всем давним ожиданиям и не вну-

шал, казалось ему, никакой надежды на то, что он найдет, наконец, себе разумное, нужное ему и людям место в жизни.

12 декабря 1887 года, купив на базаре старый револьвер, он выстрелил себе в грудь с намерением пострелить сердце.

Местная газета «Волжский вестник» так отметила в своей хронике это происшествие:

«12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни. Пешков тотчас же отправлен в земскую больницу, где, при подании ему медицинской помощи, рана врачом признана опасной. В найденной записке Пешков просит никого не винить в его смерти».

Во всем этом хроникер усмотрел, повидимому, заурядный случай самоубийства мастерового от голода или безработицы и «найденной запиской» даже не заинтересовался. А между тем, заглянув в нее, он увидел бы, вероятно, в ней материал не только для отдела «местной хроники», потому что содержания она была необычного:

«В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой чорт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно».[1]

Пуля миновала сердце и, пробив легкое, засела под кожей спины. В больницу Горький был доставлен очень слабым, почти без сознания. При первом осмотре, судя по пульсу, положение больного определили как безнадежное. Сомневались даже, целесообразно ли его оперировать. Однако операция, сделанная хирургом Плюшковым, настолько изменила положение, что на шестой день Горькому позволено было уже сидеть, а на десятый он выписался из больницы и через месяц, «очень сконфуженный», снова работал в булочной. На этот раз недолго.

---

[1] Г. Гейне был одним из любимейших писателей Горького в то время. В «Путевых картинах» Гейне писал:

«Мы маскируем даже свое несчастье и, умирая от раны в груди, жалуемся на зубную боль.

... Вы знаете, конечно, средство от зубной боли?

Но у меня зубная боль в сердце. Это самая скверная боль, в этом случае хорошо помогает свинцовая пломба и зубной порошок, изобретенный Бертольдом Шварцем».

В числе посетителей собраний у Деренкова был человек, особо привлекавший внимание Горького. «Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня. . .»

Это был М. А. Ромась, успевший уже отбыть за свою революционную работу тяжелую и длительную якутскую ссылку. Вернувшись из ссылки в 1885 году, он поселяется в Казани и, войдя в радикальные кружки молодежи, посещает и лавочку Деренкова.

Железнодорожному рабочему Ромасю было, повидимому, ясно, что попавший в общество красноречивых студентов рабочий паренек призван не столько для словопрений, сколько для практического дела и что упрямое лицо его служит тому несомненным доказательством. Сам Ромась был не охотник до словопрений, и теоретические дискуссии о высоких этических свойствах мужика не заслоняли у него потребности практической революционной работы.

Помогая одному из казанских кружков ставить типографию, он договорился о получении денег из средств кружка на организацию своей работы в поволжском селе Красновидово.

Он решил поселиться в деревне под видом сельского лавочника.

К тому времени, как Горький вышел из больницы, Ромась уже около года работал в Красновидове, с величайшей осторожностью изучая обстановку и людей. Окруженный недоверием и подозрительностью, он сумел подобрать несколько преданных ему сельчан, оценивших твердый характер и благожелательность пришельца. Опираясь на них, Ромась замышлял уже, не ограничиваясь формой кружковой пропаганды, предпринять дело, которое было бы на виду всего села.

Мысль о том, чтобы привлечь в помощь себе рабочего паренька, жадно слушавшего речи людей, «готовящихся изменить жизнь к лучшему», явилась у Ромася, вероятно, с самого начала. Но осуществить ее он решил только тогда, когда убедился, что общение со студентами и работа в конспиративной булочной не уберегли юношу от сильного душевного кризиса.

Так возникли отношения между этими двумя людьми, отношения, о которых Горький навсегда сохранил благодарную память.

Вспоминая первый день жизни в Красновидове и долгую, до полуночи, беседу с Ромасем, Горький писал:

«Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства, мое отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и человечно, просто, открыв предо мною дверь в свою жизнь, — выпрямил меня. Незабвенный день».

О своих отношениях с Ромасем и об их совместной работе в Красновидове чудесно рассказал Горький на страницах повести «Мои университеты». Эти же страницы являются для нас источником, по которому мы можем судить о характере революционной деятельности Ромася. И анализируя формы и суть пропаганды Ромася, мы убеждаемся в том, что исходил он совсем не из того положения, что крестьянская община является преддверием социалистического устройства, что коллективизм мужика уже воплощен общиной и проч., как думали и говорили народники. Ромась хотел «будить разум деревни», — это означало у него организацию сил, протестующих против полицейского произвола, против крепостнического строя администрации, против союза ее с кулацкой верхушкой, — союз этот был в деревне прямым и верным оплотом крепостничества.

Ромася не пугало то, что пробуждение политического самосознания в деревне и пропаганда сопротивления гнету абсолютизма и полицейского произвола — дело огромной трудности.

Он не скрывал этих трудностей и от своего помощника. С первых же дней Горькому пришлось убедиться в том, что лавка ночами представляет собою чуть ли не осажденную крепость и что Ромась в этой обстановке вражды и недоверия сохраняет такое спокойствие духа, какое бывает только у человека, непоколебимо верующего в успех и правоту своего дела.

В повести Горького очень явственно дана картина классового расслоения деревни 80-х годов: «Заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них».

Обострение классовой борьбы в деревне не могло не отражаться на положении городских пришельцев, Ромася и Горького. И если рядовой «хозяйственный мужик» относился

к ним с настороженным недоверием, то кулачье проявляло действительно «волчье» отношение. «Ромась продавал товары значительно дешевле других двух сельских лавочников, — сообщает Горький, — что вызвало их ненависть к конкуренту, и они решили расправиться с ним «по-домашнему».

На Ромася и Горького ночью нападали с кольями, в Ромася дважды стреляли из ружья, начинили порохом и взорвали печь у него в избе, надеясь, конечно, на большее; крестьянина Изота, приверженца Ромася, убили топором, когда он рыбачил.

Все это не останавливало Ромася. «Когда беретесь за революционное дело, — говорил он, — то уж не можно брезговать никаким тяжелым трудом и надо помнить: корень слова — дело».

В «Моих университетах» сообщается, что Ромась «почти наладил» артель крестьян-садовладельцев для совместного сбыта в городе яблок, помимо наживавшихся на этом деле скупщиков-богатеев села. Это был прямой вызов соединенной силе кулаков, старосты и урядника.

В августе 1888 года, перед сбором урожая яблок, жарким утром, лавка Ромася была подожжена и сгорела со всем товаром. «Едва не сгорел и я, — пишет Горький, — захваченный огнем на чердаке, стаскивая оттуда ящик книг. Выбросился из окна, завернувшись в тулуп».

Кроме лавки сгорело еще одиннадцать крестьянских дворов.

Поджигатели и разагитированные ими темные крестьяне села хотели расправиться и с самим Ромасем. Его и Горького пытались бить и, возможно, убили бы, — этого не случилось только благодаря непоколебимому спокойствию Ромася, присутствию духа и физической силе Горького.

Три года прошло с тех пор, как Горький впервые встретился с людьми, в речах которых, казалось ему, звучали его «немые думы», которые «говорили о необходимости и верили в возможность изменить эту жизнь». Он сам, как только представился случай, приложил и свои силы к пропаганде этой необходимости. Крендельщикам, задавленным непосильной работой, он внушил мысль о необходимости сопротивления. И все же потерпел естественную в условиях того времени неудачу, подорвавшую тогда его душевные силы. Приезд в Красновидово казался Горькому действительным возрождением к новой жизни и работе. «Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному, и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?»

Мы видели сейчас, чем разрешились эти надежды. Но первая встреча с деревней дала Горькому новые большие знания — село Красновидово, как и булочная Семенова, тоже стало одним из его «университетов».

6

Когда Ромась уехал из Красновидова и оборвалась его налаженная в труднейших условиях деятельность, Горький снова остался на распутьи и в одиночестве. «Меня свинцом облила тоска, — вспоминал он, — я заметался по селу точно кутенок, потерявший хозяина».

С красновидовским крестьянином Бариновым он «спустился» на Каспий и работал там в рыболовной артели, потом ушел в Моздок, и после скитаний в Моздокской степи он — уже поздней осенью 1888 года — очутился в Царицыне.

В этом городе Горький задержался. В то время начальство Грязе-Царицынской железной дороги обратилось к поднадзорным, политически-неблагонадежным, отбывшим ссылку, но не допущенным в столицу и проживавшим в поволжских городах, словом — ко всей массе неполноправных и оппозиционно настроенных интеллигентов-разночинцев с предложением поступать на службу.

«Целью такого приглашения, — писал А. М., — разных поднадзорных, политически-неблагонадежных людей было — по идее М. Е. Ададурова — известного жел.-дор. деятеля — желание привлечь на службу Грязе-Царицынской дороги возможно большее количество честных людей для борьбы с невероятным воровством».

Ко времени появления Горького в Царицыне на железной дороге уже служила большая группа поднадзорных. Бывший ялуторовский ссыльный народник Началов принял участие в судьбе пришлого юноши и с помощью других «неблагонадежных», пользовавшихся в то время некоторым влиянием в конторах управления, устроил его ночным сторожем на глухую станцию Добринка, на территории Тамбовской губернии.

«Приехал он к нам, — вспоминал о Горьком один интеллигент из этой же группы, ранее его попавший на железнодорожную службу в г. Борисоглебск, — уже в конце осени. Амуниция на нем была, как говорится, «веретеном тряхнуть». Как он во время холодной осени почти в летнем костюме, и притом далеко «не первой молодости», доехал до нас, одному богу известно».

Горький поступил на железнодорожную службу благодаря влиянию благожелательной ему группы интеллигентов-«ададуровцев». Но в глазах станционного начальства он по самой своей должности был настолько далек от них, что к нему полностью применен был характерный для той сферы прием смешения казенного и частного интересов. Когда он после бессонной ночи сменялся с дежурства, его заставляли работать по хозяйству у начальника станции: выносить помои, колоть и таскать дрова на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью и делать еще многое, что отнимало почти половину его дня, не оставляя времени для книг и сна.

В отличие от этих патриархальных нравов в управленческой конторе Ададурова преобладало в то время некое либеральное «веяние», и добринский сторож мог без неприятностей по службе посылать в Борисоглебск начальству такого рода письма: «Живу я попрежнему хорошо, с товарищами по службе (сторожами) сошелся, обязанности свои постиг в совершенстве и исполняю их в точности. Начальник станции мною доволен — и, в знак своего расположения и доверия ко мне, заставляет меня каждое утро выносить помои из его кухни. Прошу ответить, входит ли в круг моих прямых обязанностей таскать помои из кухни начальника станции?»

После этого Горький послал еще прошение о переводе его со станции Добринка. В этом прошении он стихами изобразил картину своего двойного подчинения: начальнику станции и его кухарке.

Если бы прошение сохранилось, его можно было бы считать первым литературным произведением Горького, имевшим при этом полный успех: автора перевели со станции Добринка на товарную станцию Борисоглебска, поручив ему хранение железнодорожных метел, мешков и брезентов.

Здесь у Горького оказалось больше свободного времени, он получил возможность больше читать, но круг наблюдений над людьми почти не расширился. Люди этого унылого и грязного города разделились в его понимании на две несоединимые категории: тупые и дикие обыватели, создающие анекдотически-варварский быт, и группа интеллигентов-«ададуровцев», «фигуры близоруких книжников в очках и пенсне, в брюках «на выпуск», в разнообразных пиджаках и однообразных мантиях книжных слов». Большинство из них имело «неблагонадежное» прошлое, тюрьму или ссылку; теперь же они усердно занимались разоблачением плутней начальников станций, весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг

перед другом удачной ловлей воров. «Мне казалось, что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям, прошлому. . .»

Горький «шел по середине» между этими железнодорожными «культуртрегерами» и обывателями города — «первобытными людьми». «Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станицы. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам, бывало, вдруг, вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове».

Перевод Горького на должность весовщика на станцию Крутая, в двенадцати верстах от Царицына, не изменил общей обстановки его жизни, но вскоре создал ему новую среду, и это обстоятельство рассеяло то чувство жуткого одиночества, которое испытывал он на Добринке и в Борисоглебске.

На Крутой Горькому удалось самому организовать «кружок саморазвития». В кружок этот входило пять человек: кроме самого Горького — телеграфист станции Крутой, «техник из крестьян» Юрин, телеграфист с Кривой Мухи Ярославцев, слесарь Верин, наборщик и переплетчик Ахметка. Состав кружка был резко демократический, и этим он отличался от интеллигентских кружков Казани. Он был свободен от обязательных народнических доктрин, здесь не было учителей, которые приносимый Горьким материал его впечатлений «кроили и сшивали сообразно моде и традициям тех политико-философских систем, закройщиками и портными которых они являлись». Это был дружеский кружок рабочей молодежи, люди явно «подозрительные», с точки зрения жандармов, которые и без того были обеспокоены наличием на железнодорожной службе множества «неблагонадежных» людей.

Какие речи вел Горький в кружке, выясняется из письма его уже 1934 года к своему сослуживцу на Крутой, осмотрщику вагонов А. П. Васильеву:

«Получил я твое письмо и отлично вспомнил Басаргина, Курнашева, Ковшова, сторожа Черногорова и почти всю братию на снимке, присланном тобой. Значит — живем еще, Парфеныч? И ведь неплохо стали жить и с каждым годом все лучше будет — растут в стране огромные силы. А помнишь, как вы, черти клетчатые, издевались надо мной, высмеивали меня, когда я говорил, что хозяевами жизни дол-

жен быть рабочий народ? Только один Черногоров замогильным голосом откликался: «Верно».

Кружок работал в условиях непрерывной слежки со стороны жандармов. «Шпионов к нам на станцию присылали из Калача, — писал Горький. — Следили за мною, телеграфистом Юриным, казанским переплетчиком Лахметкой и поручиком Матвеевым, бывшим ссыльным». Еще в бытность Горького в Борисоглебске местные жандармы сообщали в департамент полиции, что «неоднократно и весьма часто приезжали в слободу Михайловскую Василий Алабышев и Алексей Пешков из Борисоглебска, телеграфист Юрин и учительница Анна Долмат со станции Филоново и некоторые другие личности, установить которые не представилось возможным».

Слежка жандармов, самодурство начальства стали, наконец, невыносимы Горькому, и весною 1889 года он оставляет службу на железной дороге и отправляется частью пешком, частью на площадках товарных вагонов по пути: Царицын — Борисоглебск — Тамбов — Рязань — Тула — Москва.

Вспоминая впоследствии о тяжких днях, когда покидал он свою железнодорожную службу, Горький шутливо писал в очерке о Короленке (первая редакция очерка):

«Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве: род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклинал все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время моего путешествия мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, укрепилась, стала ярче... Более тысячи верст несу я мечту о независимой жизни с любимыми друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни — без начальства, без хозяина, — без унижений, я уже был пресыщен ими».

От перечисленных лиц было составлено письмо Льву Толстому, вдохновителю в те годы земледельческих колоний, письмо, подписанное так: «от лица всех — нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков».

Письмо это отличалось более молодой решительностью, чем осведомленностью. Алексей Пешков писал Льву Толстому: «У вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли».

Естественно, что явилась необходимость в личных объяснений. Вот почему путь Горького лежал через Тулу и Москву.

Уходя со станции Крутой, он засунул в свою котомку тетрадь стихов и «превосходную поэму в прозе и стихах» — «Песнь старого дуба».

«Я никогда не болел самонадеянностью, — шутливо вспоминает Горький об этой поэме, — да еще, в то время, чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех, живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь — кроме и больше этого я ничего не желал».

С такими настроениями Горький шел к новому этапу жизни — шел с намерением «отойти в тихий угол и там продумать пережитое». Но Лев Николаевич Толстой не обнаружил бы в нем своего последователя. Нельзя было бы найти для принципов «непротивления злу» более неудачный материал, чем боевой и страстный темперамент этого молодого рабочего с клеенчатой котомкой за спиной. Он шел через жизнь, еще с детства «сцепив зубы, сжав кулаки», «готовый на всякий спор и бой», защищая и себя и то, что считал дорогим и ценным в мире.

Толстого Горький пытался увидеть и в Ясной Поляне и в Москве, в Хамовниках, — в обоих случаях неудачно. «Софья Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг; она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу является очень много «темных бездельников», и что Россия, вообще, изобилует бездельниками».

После этой неудачи Горький решил вернуться в Нижний.

«На станции Москва-Товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, — в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

... Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов, более грубых, чем эти».

Нижний в те годы еще более, чем Казань, служил передаточным пунктом между сибирской ссылкой и центром.

Здесь проживала большая колония «политиков», как тогда говорили. Она усилилась в 1888—1889 годах высланными из Казани после университетских волнений 1887 года. Между ними были знакомые Горького по Казани, и с двумя из них — Чекиным, бывшим учителем городского училища, уволенным за неблагонадежность, и Сомовым, бывшим ссыльным, он поселился летом 1889 года во флигеле дома Лик по Жуковской улице.

И Чекин и Сомов были «поднадзорными», вследствие чего квартира их, естественно, была взята под «негласное наблюдение». Данные этого наблюдения показались тем более интересными, что в поле зрения жандармов, среди привычных жандармскому глазу неблагонадежных интеллигентов, обнаружена была фигура молодого рабочего.

Родной город встретил Горького неприветливо. Нужда заставила итти работать в пивной склад, перекатывать в сыром подвале бочки, мыть и закупоривать бутылки, затем развозить в тележке по лавочкам и квартирам баварский квас.

Для жандармов было ясно, что никакой маскировки здесь нет. Но в смысл этого явления необходимо было проникнуть. Поэтому вскоре же по приезде Горького в Нижний о загадочном «цеховом малярного цеха», как он именовался в паспорте, были посланы запросы — в Саратов, Царицын и Казань.

Ответ из Саратова не сохранился, известно только, что он был. Ответ из Царицына пришел явно неудовлетворительный. Жандармский ротмистр Устинов доносил нижегородскому начальнику жандармов генерал-майору Познанскому, что ни жандармами, ни местной полицией не установлено того, чтобы когда-либо проживал в Царицыне маляр Алексей Максимов Пешков, и в свою очередь просил «не отказать почтить предписанием, в котором году и у кого именно проживал Пешков в Царицыне, состоял ли он в качестве рабочего в артели или имел свое малярное заведение .

Зато в Казани Горького знали хорошо. Начальник казанских жандармов полковник Гангардт сообщал в Нижний, что «маляр Алексей Максимов Пешков» занимался не малярным мастерством, а «служил разносчиком хлеба» в хорошо известной жандармам булочной Деренкова.

Нашлись и следы пребывания Горького в Казани. Оказалось, что при одном обыске были установлены следующие улики против Горького:

1) Тетрадь, содержащая написанную рукою Алексея Пешкова выписку из статьи Миртова в «Отечественных записках» — «Современные учения о нравственности и ее истории».

2) Принадлежащий Пешкову экземпляр печатного «Систематического указателя лучших книг и журнальных статей 1856—1883 гг.».

Улики для обвинения Горького в революционных действиях были довольно скудные. Тем не менее раз встревоженное воображение жандармов уже работало, и полковник Гангардт со своей стороны охотно подтвердил догадку Познанского о молодом рабочем, как о связующем звене между казанскими и нижегородскими «неблагонадежными» элементами.

Но еще до получения соображений Гангардта «негласным наблюдением» были доставлены сведения, показавшиеся жандармскому управлению значительными. Было установлено, что «жизнь этих трех лиц (Сомова, Чекина и Пешкова) и общение их между собой велись на коммунистических началах», что они «не только не держат у себя никакой прислуги», но, уходя, сами запирают квартиру и «не дозволяют даже прислуге домовладельца г. Лика прибирать у них в комнатах».

Это, конечно, затрудняло работу жандармов. Но подоспел случай, который доставил генерал Познанскому, как он выразился в переписке с нижегородским губернатором, «известное удовольствие»: неожиданно пришла из Петербурга от департамента полиции телеграмма с приказом об аресте Сомова, — его разыскивали в связи с «провалом» подпольной типографии Федосеева в Казани.

Тотчас же по получении приказа, 12 октября 1889 года, был произведен в «коммуне» обыск, но в квартире никого не застали. «Книги и бумаги найдены разбросанными и частью порванными, и притом между ними не обнаружено ничего существенного».

Во время обыска вернулся в квартиру Горький и немедленно был подвергнут допросу. «Держал себя при этом опросе Пешков в высшей степени дерзко и даже нахально», — доносили производившие обыск жандармы. Он был арестован и заключен в Нижегородский тюремный замок.

Но никакого «дела» не получилось. Забранные у «в высшей степени дерзкого» мещанина Пешкова бумаги, книги и фотографии не дали ничего «существенного».

Тем не менее «дознание о мещанине Алексее Пешкове» Познанский препроводил губернатору со следующей резюмирующей запиской:

«Полученный от начальника казанского губернского жандармского управления ответ на запросы мои о Пешкове утвердил меня в давно составившемся у меня мнении о Пешкове, что он представляет собою удобную почву для содействия неблагонадежному люду России. Из этого отзыва я узнал, что Пешков служил в Казани в булочной, устроенной с неблаговидными целями, что он был знаком в Казани с неблагонадежными личностями, что он читал сочинения особенного, не вполне желаемого и несоответствующего его развитию и полученному им образованию, направления».

Конечно, с охранительной точки зрения жандармского генерала и губернатора «вполне желаемым» чтением для мещанина, обучавшегося в приходском училище, который даже «курса в оном по бедности не окончил», была бы только лубочная литература. Естественно, однако, что на этих данных Познанский «не нашел возможным основывать обвинение Пешкова».

Он сообщал губернатору, что «полагал бы справедливым дело о мещанине Пешкове дальнейшим производством прекратить, принятую относительно него меру пресечения — гласный надзор полиции — отменить и отдать его лишь под секретный негласный надзор, с тем чтобы по поступлении его в военную службу (он будет тянуть жребий в конце нынешнего года) о его прошедшем было сообщено секретно его военному начальству».

Оба адресата согласились с необходимостью учредить над Пешковым секретный надзор, и с этих пор он уже постоянно оставался в сфере наблюдения жандармского управления, департамента полиции и губернских полицейских властей. Эта «незримая нить» опутала его плотно, он «скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити».

Жизнь Горького в Нижнем попрежнему шла путано. Несколько упорядочила его быт работа письмоводителем у адвоката Ланина. Был у него еще какие-то свои расчеты на призыв, но в солдаты его не взяли. «Дырявый, пробито легкое насквозь!» — определил приемщик врач.

Он подал тогда заявление о желании вступить добровольцем в топографическую команду, — знакомый офицер-топограф

обещал взять его «на Памиры», но в зачислении Горькому было отказано, — помешала «неблагонадежность».

Этот последний проект — солдатчина и «Памиры» — выразительно показывает, как метался Горький в поисках какого-то выхода из создавшегося для него тупика.

Но была у него одна затаенная дума. Волнения, вызванные в нем его первым большим творческим трудом, не могли быть им забыты. В один из дней декабря 1889 года он решился пойти к писателю Короленко, жившему в то время в Нижнем, и показать ему свою тайную ото всех поэму.

Короленко, перелистывая рукопись у себя на коленях, кратко и образно говорил смущенному автору о том, как плохо и почему плохо написал он свою поэму.

«В юности мы все немножко пессимисты, — сказал он, — не знаю, право, почему. Но кажется, потому, что хотим много, а достигаем мало...»

Горького поразило тонкое понимание настроения, побудившего его написать «Песнь старого дуба». А потом дело дошло до многочисленных курьезов стиля. И здесь мягкая и ласковая по форме, но суровая по существу критика Короленки подействовала на Горького оглушительно. Он «уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама».

«Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы, и, действительно, все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал... А иногда очень хотелось».

В течение двух лет жизни в Нижнем Горький поддерживал широкие знакомства в кружках молодежи и «политиков», но среди всех этих «народников» и «радикалов», — как называли себя местные группы интеллигентов, — слушая искусные и замысловатые речи, Горький, по его словам, чувствовал себя «как чиж в семье мудрых воронов».

Сохранился интересный рассказ свидетеля такого собрания. Происходило оно в квартире одного из нижегородских «политиков», в связи с приездом из каких-то сектантских краев «нелегального» народника, рассказывавшего о революционных настроениях крестьянства.

«Пешков тоже оказался здесь и слушал внимательно. Но мне казалось, что у него чуть-чуть насмешливая, лукавая улыбочка все время играла на губах. А когда «нелегальный» кончил и началась «дискуссия», то Пешков, дождавшись своего череда, тоже заговорил... Он говорил как-то совсем не так, как все другие. Те заполняли свою речь сухими, отвлеченными рассуждениями, от которых клонило ко сну, а

Пешков говорил живыми образами. В его разговоре, оснащенном крепкими, пахнувшими жизнью словечками и меткими характеристиками, все жило, трепетало, дышало... Не всем эта речь молодого человека как будто нравилась; «радикально» настроенная публика находила ее отчасти даже еретической, но все, однако, его со вниманием слушали. Лицо Пешкова умело преображаться в такие моменты, — в этом я не раз впоследствии убеждался».

О чем так увлекательно говорил Горький на этих собраниях? «У меня не было, — вспоминает он, — той дисциплины или, вернее, техники мышления, которую дает школа; я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти неколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно знал».

Жизненный опыт мешал ему соглашаться с книжными концепциями «народников», и вместо теоретических доводов он возражал богатыми собственными впечатлениями, а по приведенному выше свидетельству речь его и тогда уже отличалась необычайной выразительностью.

«Я видел, — вспоминал он свои несогласия с «народниками», — что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народ», о котором они говорят, — ист на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика; работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь».

Конечно, речи его в ту пору вряд ли были в достаточной мере последовательны, — «чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался — как многие — говорить суровым басом». И если, как свидетельствует очевидец, «все его со вниманием слушали», то несомненно, что и в этих его личных наблюдениях велика была жизненная правда, о которой он рассказывал с галантом формирующегося художника.

«Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичные усилия проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своей духовной нищетой, диковинной скукой, особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг

к другу». Он терялся в хаосе противоречивых мыслей, среди мучительных сомнений, которые ему необходимо было разрешить. Тогда же возникла у него неодолимая потребность решения и основных вопросов о мире и о знании.

Помочь ему ознакомиться с философскими проблемами вызвался студент Н. З. Васильев, с которым Горький тесно сдружился в ту пору. Они начали занятия с античной философии, обосновавшись в полуразрушенной беседке запущенного сада.

Занятия эти привели, однако, к совершенно неожиданным результатам. У ученика, по мнению руководителя, оказалось слишком «разнузданное воображение».

Это было воображение художника, изменяющее в соответствии со своей душевной эмоциональностью силу и смысл обязательных логических построений. Так, знакомство с системой Эмпедокла, объяснявшего процесс мирообразования смешением и разделением носящихся в пространстве разобщенных элементов, вызвало у Горького столь наглядное представление об этом хаосе мрачной разобщенности, об этом немом вихре изорванных тел, что возникшие у него бредовые видения не давали ему покоя ни днем, ни ночью.

Даже такая абстрактная догма, как философский скептицизм, вызывала в его воображении реальные и в то же время чудовищные представления:

«Все — возможно. И возможно, что ничего нет, поэтому мне нужно дотрагиваться рукою до заборов, стен, деревьев. Это несколько успокаивает. Особенно — если долго бить кулаком по твердому, убеждаешься, что оно существует.

Земля — очень коварна, идешь по ней так же уверенно, как все люди, но вдруг ее плотность исчезает под ногами, земля становится такой же проницаемой, как воздух, — оставаясь темной, — и душа стремглав падает в эту тьму бесконечно долгое время, оно длится секунды».

«Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей.

Душа моя сильно болела. И если б, два года тому назад, я не убедился опытом, как унизительна глупость самоубийства, я наверное применил бы этот способ лечения больной души».

Конечно, не «философия» довела Горького до такого душевного состояния. Полное неустройство его личной жизни, неумение решить вопросы своего отношения к окружающему и найти себя в пестрой путанице пережитых впечатлений и удушающей обстановки эпохи реакции, неведение путей, которыми он мог бы прийти к разумной работе и «подви-

гам», о которых страстно мечталось, — все смоталось в один клубок противоречивых и тяжких впечатлений.

К этому присоединились и волнения «первой любви». Объектом ее была О. Ю. Каминская, жена одного из «политиков», вернувшегося из ссылки и поселившегося в Нижнем.

Как всякий влюбленный, романтически настроенный юноша, Горький ждал своего перерождения от слияния с любимым человеком. «Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости».

Но здесь тоже ждала его неудача. Каминская не решилась оставить мужа, и вскоре «полубольной, в состоянии близком безумию» Горький ушел из Нижнего и «почти два года шатался по дорогам России, как перекати-поле». Так возобновились его странствия.

8

Это было в апреле 1891 года. Горький вышел из Нижнего, когда на полях еще стояли лужи талого снега и не совсем просохли дороги. Он шел по берегу Волги, потом плыл на пароходе до Царицына и по очень знакомой ему Грязе-Царицынской железной дороге доехал до станции Филоново.

С этого места два года тому назад отправился Горький на север, на Тулу и Москву. Здесь еще работал телеграфистом Юрин, лучший друг его молодости, с которым он так сблизился на станции Крутой. Здесь они с Юриным и Ярославцевым обдумывали в то время проект земледельческой колонии, которая казалась выходом из нелепой и повсеместной «тесноты жизни». Здесь был тот кружок демократической молодежи, настроения которого поддерживали Горького в его отчаянных поисках своего пути.

Теперь он возвращался сюда с той же, если не с большею силой отталкивания от прошлого.

Тогда — два года тому назад — он был не только полон страстного желания «независимой жизни», мечтал о жизни «без начальства, без хозяина, без унижений», но и окрылял подвигов для возрождения этой земли, на которой для всех должна взыграть «честная, чистая, веселая жизнь».

Теперь он оставлял за собой два года бесплодных поисков социальной правды, потому что в кружках нижегородской интеллигенции, среди людей, призванных, казалось ему, решать эти задачи, он видел или старую приверженность к «раскрашиванию» какого-то несуществующего на земле «народа», или циинческий скепсис ко всяким «идеям», самодовольную уверенность в том, что «и без нас обойдутся», или, наконец, тихое приспособленчество «поумневших» людей.

Неудивительно, что в этом «брожении» Горький не находил ничего «по душе» для себя. Порвав с этим миром бесплодных словопрений, Горький уходил из Нижнего в мрачном состоянии духа. Но, зная о его душевном состоянии в эти дни, мы не знаем, каковы были теперь его положительные мысли о преобразовании жизни, с чем теперь он пришел в кружок своих друзей. В свое время хоть что-нибудь по этой части очень хотелось узнать жандарму станции Филоново, который 29 мая 1891 года доносил своему начальству:

«Наблюдая, на основании § 13 инструкции жандармам, за служащими на железной дороге, с некоторых пор заметил, что у надсмотрщика станции Филоново, техника из мещан города Борисоглебска, Чичагова очень часто собираются преимущественно молодые люди, а именно: телеграфист техник из крестьян Юрин, техник при вагонной мастерской Хлебников, учитель хутора Березовского Фролов и временно проживающий, приехавший из Нижнего-Новгорода цеховой малярного цеха Алексей Максимов Пешков. Все вышеназванные лица собираются в помещении Чичагова, и собрания эти продолжаются большей частью и за полночь и более и всегда при занавешанных окнах и затворенных дверях, так что неожиданно для них попасть к ним нельзя... Ввиду скрытности вышеназванных лиц и подозрительного поведения есть основания предположить, что они при этих собраниях обдумывают злонамеренные цели противу начальства, что у означенных лиц имеются вредные и запрещенные книги, так как вообще книги они имеют, но стараются, чтобы их никто не читал из лиц не их кружка».

Нет сомнения в том, что в этом кружке революционно настроенной молодежи главенствовал Горький, имевший все преимущества широкого запаса наблюдений и необычайной силы пытливости. Но несомненно и то, что обилие наблюдавшихся им противоречий русской действительности затрудняло его путь к поискам социальной правды, — «мои «впечатления бытия», — вспоминал он, — находясь в состоянии

хаотическом, весьма мучительно отягощали меня». «Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь. Я жил в горячем тумане разноречивых мыслей, желаний, ощущений... Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя».

Принятое Горьким решение соответствовало его натуре еще не осознанного им в себе писателя, — «решено было мною самому пойти посмотреть, как живет «народ». И несомненно, что через донские степи, по полям Украины, по знойной Новороссии, по всем исхоженным им пространствам родины Горький шел уже, в сущности, как писатель, пытливо решавший для себя вопрос, «чем люди живы». Он шел многолюдными станицами, проходил степные города и села, работал в шумных речных и приморских портах, очагах отчаянной эксплоатации и нищеты. Он вступал в разнообразные отношения с сотнями людей, являясь пред ними рабочим, батраком, просто «прохожим».

Когда-то разночинец Левитов, писатель-демократ 60-х годов, писал: «Будучи, по натуре своей, человеком улицы, я, шатаясь из конца в конец по нашей широкой отчизне, видел, по крайней мере, сто миллионов людских глупостей и двести миллионов людских же подлостей». Вспоминая об этом, он «приходил в неизъяснимое бешенство». Но мучительный опыт его скитаний оборачивался в его рассказах или едкой усмешкой, или многословной лирикой, исходившей в жалобах и сарказмах.

Горький был не разночинцем, а пролетарием, он рос человеком другого склада, демократом другого времени. Его столкновения с «будничко-страшным» крепили в нем непосредственный импульс борьбы, и в борьбе этой он напряженно оборонялся, «всегда готовый на всякий спор и бой». Опыт его странствий был не менее богат, чем левитовский, но у него неизменно острее была реакция на приниженность масс, на звериную повадку «хозяев», на дикую психику мещанина, на все явления классово враждебного ему мира.

Со станции Филоново его путь лежал через Донскую область, Украину и Новороссию. Он добывает себе на месяц пропитание: работает грузчиком в ростовском порту, батрачит у крестьян на Украине и у еврейских колонистов Екатеринославской и Херсонской губерний.

15 июля в селе Кандыбине, в 30 верстах от города Николаева, Горький стал свидетелем публичного истязания женщины, — сцены, описанной им в рассказе «Вывод». Он вме-

шался в эту гнусную расправу и сам был до полусмерти избит. Его вывезли из села и бросили в кусты, в грязь, «чем я и был спасен, — писал мне А. М.. — от преждевременной и «поносной» смерти, ибо получил «компресс». — Шарманщик, ехавший с какой-то сельской ярмарки, подобрал избитого человека и доставил в Николаев, в больницу, где Горький и отлежался.

Из Николаева он идет к Черному морю. Здесь, на лиманах, живет с рыбаками, работает также на соляной добыче в исключительно тяжелых условиях.

Пройдя Бессарабию до Дуная, возвращается в Одессу, работает в порту грузчиком, а потом через Перекоп, Симферополь, Ялту, Керчь, Кубань, Черноморье, Терскую область, по Военно-Грузинской дороге приходит в ноябре 1891 года в Тифлис.

Когда он проходил Кубань, в Майкопе его арестовали по делу о казачьем чумном бунте.

Волнения начались с того, что ветеринар и санитарный инспектор при появлении на скоте чумы распорядились всех волов согнать в одно отгороженное место, а сами пропали на несколько суток. Тем временем больные волы заразили здоровых, и пришло распоряжение перебить весь станичный скот. Казаки возмутились, и для усмирения их были присланы кавказская стрелковая дружина и драгуны.

«По сему делу, — писал мне А. М., — были повешены трое или четверо; помню фамилию и фигуру одного: Черный, — эдакий усатый молодчина. Я был задержан как «проходящий», во время поминок по убиенным. А так как в котомке моей оказалось Евангелие, то сей факт весьма скомпрометировал меня. Впрочем, были еще какие-то две-три книжки безвредные и тетрадь моих стихов, впоследствии утопшая в Керченском проливе, отчего вода его солонее не стала, как я уверен. Сидел я несколько дней в только что отстроенной тюрьме, из окна ее видел за рекою в поле множество гусей, — очень красивая картина. Допрашивали: почему хожу? «Хочу знать Россию». Жандармский офицер с двойной фамилией, забытой мною, и с лицом обиженного человека сказал: «Это — не Россия, а сволочь».

После этого Горький работал на строящейся железной дороге Беслан — Петровск, из Беслана ходил на Алагир и вдоль Кавказского хребта в сторону Черного моря, намереваясь пройти Военно-Осетинскую дорогу, но, почему-то не попав на нее, вернулся к Владикавказу.

Впоследствии в целом ряде рассказов (в порядке страдствия — «Ералаш», «Проходимец», «Покойник», «На Чангу», «Вывод», «Челкаш», «На соли», «Емельян Пиляй», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Два босяка», «Мой спутник», «Мещане», «В ущелье», «Чужие люди» и др.) Горький описал впечатления и встречи во время своих хождений.

Среди этих рассказов один из самых интересных по автобиографическому материалу — рассказ «Мой спутник», о путешествии Горького из Одессы в Тифлис в обществе кавказца Шакро — барчонка, отбившегося от своей семьи. Горький взялся помочь голодавшему юноше, прокормил его своим трудом и довел до родины. А тот, искренно не понимая такого отношения к себе, счел своего спутника и покровителя дураком и сделал из этого свои выводы. Он не только жил на счет Горького и обкрадывал его, но в дороге пытался оклеветать его, чтобы спастись самому, и чуть не предал в опасных обстоятельствах; когда же они дошли до Тифлиса, он, пообещав Горькому приют в своем доме, ушел от него обманом и оставил одного в незнакомом городе.

«Я никогда больше не встречал этого человека, — заканчивает рассказ Горький, — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом. Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, — ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей».

На лавочке, под навесом станции конно-железной дороги у Верийского моста, Горький шесть часов ждал обещанного возвращения своего спутника и, сильно промерзнув, отправился искать себе приют. Зайдя в какой-то духан, он был не очень любезно встречен там пьяными «кинто», подрался с ними и с ними же был отправлен в «участок» на Ольгинской улице, «где, — добавляет Горький, — я благополучно и приятно провел первую ночь моего пребывания в столице Кавказа». Утром его допросил «частный пристав» и, возможно, поступил бы с ним «по обстоятельствам», потому что его оборванный вид не вызывал сомнений в его социальном положении, а цели прибытия в Тифлис были крайне подозрительными. «Оправдаться» можно было, лишь указав на какие-нибудь солидные местные связи. Горький назвал жившего в Тифлисе М. Я. Началова, политического поднадзорного, с которым он знаком был по службе на Грязе-Царицынской железной дороге. Началова в полиции знали, жил он в участке

этого пристава и под его же надзором. Горький в сопровождении городового был направлен к Началову и после удостоверения последним истины отпущен.

В 1931 году, в дни празднования десятилетия советской Грузии, Горький писал: «Прекрасный праздник, на котором мне хотелось бы присутствовать скромным зрителем и еще раз вспомнить Грузию, какой видел ее сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис, город, где я начал литературную работу. Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан мною первый неуверенный шаг по этому пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная природа ее страны и романтическая мягкость ее народа, — именно эти две силы дали мне толчок, который сделал из бродяги — литератора».

Действительно, Тифлис в жизни Горького стал целой эпохой, здесь он пережил «неисчислимо много», здесь он подвел итоги огромному запасу своих впечатлений, здесь ему яснее стал его путь.

Но пришел он в этот город, как мы видели, «бродягой». На первое время Началов приютил его в комнате, которую он сам занимал с женой. Началов служил в управлении Закавказской железной дороги и использовал свои связи, чтобы устроить Горькому заработок. «Сначала, — писал мне А. М., — месяц с лишком работал в кузнечном, молотобойцем, затем — в счетоводном отделе мастерских записывал расходы материалов по «малому ремонту» паровозов».

Началов ввел Горького в круг своих друзей, тифлисских «политических», в большинстве ссыльно-поселенцев. Среди них были: Я. А. Данько, верхоленский ссыльный, после сибирской ссылки работавший в пермских железнодорожных мастерских рабочим на тяжелой работе «глухаря»; В. В. Берви-Флеровский, публицист и социолог, неоднократно ссылавшийся, автор популярных у революционной молодежи 70-х и 80-х годов книг — «Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук»; А. М. Калюжный, революционер, осужденный по одному из процессов 70-х годов и отбывший карийскую каторгу; ссыльно-поселенец Н. М. Флеров и другие.

В семье одного из членов этого кружка «политических», у Данько, Горький снял себе комнату. Данько жили в высокой части Тифлиса, на горе Вере, за Верийским мостом, во втором этаже небольшого деревянного дома. С этим обстоя-

тельством жизни Горького в Тифлисе связано его шуточное двустишие той поры:

Живу я на Вере без веры —
И в го́ре живу на горе́!

Однако на протяжении почти года своей жизни в Тифлисе Горький не приобрел свойств оседлого человека. В разное время в течение этого года он исходил Грузию, насыщаясь впечатлениями новой для него и пленившей его страны.

Летом 1892 года он прошел на Черноморье и работал вместе с «голодающими» на постройке шоссе Сухум — Новороссийск. Еще до этого похода побывал он и в другой, восточной части Кавказа. Вместе со своим приятелем, рабочим-механиком Федором Афанасьевым, он был в Баку, этом страшном в то время «черном царстве» мучительного труда рабочих и колоссальной наживы нефтяников.

9

Вернувшись из Баку в Тифлис, Горький поселился с Афанасьевым на одной квартире. К ним присоединились: их общий знакомый Рохлин, слушатель землемерного училища Самет, семинарист Биланов и студент учительского института Вартанов. Оказавшись в центре группы живой и общественно-активной молодежи, Горький проявил свои организаторские способности: в полуподвале на Ново-Арсенальной улице образовалась «коммуна», члены которой были увлечены Горьким на путь пропагандистской работы среди учащейся молодежи и рабочего актива. Помогли здесь установившиеся связи Горького с рабочей молодежью железнодорожных мастерских и связи других членов этого содружества в среде тифлисской учащейся молодежи.

Жизнь здесь протекала довольно оживленно и шумно. Почти ежедневно устраивались чтения, беседы, обсуждения и споры. Семинаристы, ученики землемерного училища, учительского института, учительницы, слушательницы акушерского института и рабочие сближались на общих занятиях в этом неожиданно возникшем и расцветшем политическом «клубе».

К этим дням относится сообщение Горького в одном из его писем: «В коротких словах — вот моя внешняя жизнь: с 9 до 4 работа, с 4 до 5 отдых, с 5 до 9 — чтения (от них свободны только среда и воскресенье), с 9 до 11—12

споры, раздоры и прочее. С 12 до 3—4 читаю и пишу для себя».

А одному из своих старых казанских друзей Горький писал с такой уверенной и радостной бодростью:

«Читаю с учениками института и семинарами. Ничему не учу, но советую понимать друг друга. С рабочими в депо железной дороги читаю и разговариваю. Есть тут один рабочий Богатырович — хорошая фигура, с ним мы душа в душу живем. Он говорит, что в жизни ничего нет хорошего, а я говорю — есть, только спрятано, чтобы не каждая дрянь руками хватала».

Обнаруживались и такие связи рабочей солидарности, которые казались слишком кратковременными для того, чтобы быть закрепленными в дружеской переписке.

Из жандармских документов стало известно, что в том же 1892 году при обыске в Ростове-на-Дону по «делу о распространении преступных изданий» были найдены письма Пешкова, в одном из которых он писал так:

«Поливаю из ведрышка просвещения доброкачественными идейками, и таковые приносят известные результаты», причем добавлял, что «работы пока нет, и работников, способных к чему-нибудь, всего шесть-восемь человек».

В другом письме он просит достать место двум парням, рекомендуя их как лиц, «способных на всякие преступления», и уведомляет, что он и его товарищи ожидают «визита блестящих пуговиц».

Нашлись письма Пешкова и у другого обвиняемого по этому делу. Теперь мы знаем, что Горький был в переписке со своим сожителем и товарищем по работе в ростовском порту «матросом Петром», был в переписке и с маркировщиком Тросткиным, а отрывки найденных писем лучше всего говорят о том, какими мыслями делились товарищи по работе в ростовском порту, что их связывало на далеком расстоянии, после того как они разлучились.

Эти письма портового рабочего были настолько хорошо поняты жандармами, что они воспользовались ими в числе других «изобличающих» Горького документов даже через десять лет, когда им нужно было добиться у царя столь нашумевшей отмены выборов Горького в Академию наук.

«Себя я вижу в ту пору фантазером, стихотворцем,— писал мне А. М.,— пропагандист я был, вероятно, плохой».

Думается, однако, что А. М. по своей скромности преуменьшал здесь значение собственной революционной работы. Нет никакого сомнения, что Горький был организатором

всей деятельности «коммуны», и когда через шесть лет О. Афанасьев был привлечен по серьезному делу, жандармы, обратившись к прошлому Афанасьева, безошибочным нюхом определили степень влияния Горького на тифлисскую молодежь в период существования организованного им содружества. Недаром с тех пор во все жандармские «справки на Горького» входила формула, с которой выступил перед жандармами один из свидетелей, давший «откровенные показания»:

«Ашшов, несомненно, был причастен к рабочей пропаганде, так как часто, много и резко говорил об эксплоатации рабочих».

Что же касается другой стороны его внутренней работы, того, что определило его как «фантазера-стихотворца», то и здесь у нас есть свидетельства современников. По словам лиц, живших в ту пору Горького, у него были целые тетради, исписанные стихами, и сам он был полон каких-то замыслов. К этому времени относится его увлечение Байроном. Сохранившиеся отрывки его прозы и стихов указывают на чрезвычайно возбужденное, романтическое настроение, обуревавшее автора. Это все тот же «романтизм юности», который и в прежние годы поднимал его над «темными впечатлениями бытия», внушая мечты о борьбе и подвигах.

Путь его странствий не был усыпан розами, — Горький признается, что после странствий он «огрубел, обозлился еще более»,— однако, как и в прежние годы, хождение по дорогам родины укрепило его и рассеяло мрачное состояние духа, а огромный опыт всего виденного, переполняя его, требовал исхода, требовал применения этого богатейшего материала. И хотя теперь Горький словно ближе подходил к порогу какой-то неясно рисовавшейся ему деятельности и никогда еще так полно не ощущал своих сил, но не мог сломать лед недоверия к себе и притти к осознанию характера этих сил, того, что обозначалось старым словом — призвание.

Здесь на пути его встретился человек, влияние которого имело для Горького в ту пору решающее значение. Это был А. М. Калюжный, тифлисский знакомый Горького из группы социально-пропагандистов.

О том, что произошло между этими двумя людьми, рассказал в письме к Калюжному сам А. М., и рассказал с такой сердечной теплотой, которая всегда означала у него и глубокое волнение:

«Дорогой друг и учитель мой, Александр Мефодиевич!

С той поры, как я, счастливо для себя, встретился с Вами, прошло тридцать четыре года; с того дня, как мы видались второй и последний раз — истекло двадцать два года.

За это время я встретил сотни людей, среди них были люди крупные и яркие. Но поверьте,— никто из них не затемнил в памяти сердца моего Ваш образ.

Это потому, дорогой друг, что Вы были первым человеком, который отнесся ко мне воистину по-человечески.

Вы первый, памятным мне хорошим взглядом мягких Ваших глаз, взглянули на меня не только как на парня странной биографии, бесцельного бродягу, как на что-то забавное, но — сомнительное. Помню Ваши глаза, когда Вы слушали мои рассказы о том, что я видел, и о самом себе. Я тогда же понял, что перед Вами нельзя хвастаться ничем, и мне кажется, что благодаря Вам я всю жизнь не хвастался собой, не преувеличивал моей самооценки, не преувеличивал и горя, которым щедро напоила меня жизнь.

Вы первый, говорю я, заставили меня взглянуть на себя серьезно. Вашему толчку я обязан тем, что вот уже слишком тридцать лет честно служу русскому искусству.

...Старый друг, милый учитель мой, — крепко жму Вашу руку».

Это письмо имеет важное автобиографическое значение. Несомненно, что Горький возбуждал интерес к себе и в группе интеллигентской молодежи, посещавшей «коммуну», и в обществе старшего поколения —ссыльно-поселенцев. Но этот интерес не помогал ему понять себя, разобраться в его страстных поисках той поры.

Огромная заслуга Калюжного была в том, что, убедившись в необычайной даровитости своего молодого друга, он отнесся к нему «воистину по-человечески»: внушил ему серьезное и правдивое отношение к самому себе. И то, что Калюжный сделал для Горького, отозвалось у того глубоким чувством благодарности. «Мы не видались с Вами почти девять лет,— писал Горький Калюжному и в 1901 году,— но я прекрасно помню все пережитое с Вами и никогда не забывал, что именно Вы первый толкнули меня на тот путь, которым я теперь иду».

Первым шагом на этом пути был рассказ «Макар Чудра», написанный Горьким в квартире Калюжного, в пору их наиболее тесного сближения. Калюжный же добился и того, что рассказ был напечатан в местной газете «Кавказ» 12/24

сентября 1892 года. Этот день А. М. считал началом своей литературной работы,— тогда же, сидя в редакции, он придумал свой псевдоним.

Нужно вспомнить все условия жизни Горького до этого периода, его метания и сомнения, его хождения, как он выразился в одном из писем ко мне, «вокруг да около самого себя», чтобы понять, как велик был для его сознания переход от «бродяги» к «литератору».

10

И еще одно обстоятельство сделало осень 1892 года счастливой для него — новая встреча с Каминской.

Она к тому времени разошлась с мужем, прежнего препятствия не существовало. А увлечение юноши и сам он, так изменившийся, вызвали с ее стороны новое, не только покровительственное отношение к нему. Совместная жизнь их в Нижнем была почти предрешена.

В Нижний же Горького телеграммой вызывал знакомый ему адвокат Ланин, предлагая снова работать у него письмоводителем.

Рассказ «Макар Чудра» Горький назвал своим «первым, неуверенным шагом» на пути литератора. И все же великая объективная правда была в том, что этим рассказом стали открываться собрания сочинений прославленного писателя, что этот полусказочный очерк стал рубежом в русской литературе. Пафос этого рассказа был так же прямолинеен, как непосредственны были его горячие метафоры, как многочисленны были как бы переполняющие его образы и напряженной страсти эмоции. Пафос его был в отрицании насилия и в преодолении всех пут, которые могли бы поработить человека.

И как необычайно было появление этой романтической пылкой легенды в сухом и чопорном официозе наместника Кавказа, так необычаен был вообще этот гимн свободному человеку во времена мертвой полосы реакции и полукрепостнического строя «богохранимой» Российской империи.

Откуда же этот пафос, какие силы вызвали это первое в литературе воплощение начинавшегося общественного подъема, выраженное пока еще в легендарных, сказочных, полуфантастических очертаниях?

Напряженными поисками социальной правды были наполнены целые годы в жизни молодого Горького. Жадное

желание узнать, самому увидеть, как и чем живет народ, не книжный «народ» идеалистов-народников, а настоящий, во плоти и крови повседневной действительности, какие он таит в себе силы, что думает о своей жизни, — это желание не раз заставляло его бросать все и итти из конца в конец страны.

Он шел по деревням, еще закатым крепостническим гнетом помещиков, кулаков и урядников, шел через монастыри, где корыстные люди делали своей профессией — примирять волка с овцой и утешением смирять обобранного и обездоленного человека. Он работал в среде людей, еще рабски приниженных и забитых, но работал и в среде тех, кто уже радостно откликался на зовы новой, рабочей правды, еще не имевшей возможности громко благовестить.

Он видел «дикий хаос, буйное кипение бесчисленных мелких и крупных совершенно непримиримых противоречий, в массе своей создававших — чудовищную трагикомедию, — роль главной героини в ней играла жадность собственника». Но он видел и несокрушимые силы народа, силы сопротивления, которых не могли задавить ни солдатский сапог Александра III, ни иезуитский талант Победоносцева, усердно насаждавшего духовное растление. И в самом деле: не очень спокойно чувствовало себя царское правительство, если не переставало издавать все новые и новые крепостнические установления и держать полстраны на положении «усиленной охраны» и военных судов. Унижаемая эксплоататорами, но могучая по своим творческим силам родина помогла Горькому найти себя. «Мне нужно было найти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя». Он нашел это в своих странствиях, он нашел это в рабочей среде Тифлиса, в тех знаменитых железнодорожных мастерских, в которых через несколько лет, в 1893 году, начинает широкую революционную деятельность Сталин.

Народная стихия, фольклорные источники коей с детства обогащали Горького, определила и первые шаги его писательской деятельности. Не случайным было то, что в его котомке вместе с тетрадями стихов были и тетради его записей народных песен и сказаний.

Народные легенды легли в основу его первых эпических произведений. Фольклорного происхождения была легенда о Радде и Лойко, в произведении Горького ставшая повестью о людях с органическим и несокрушимым чувством свободы. В Тифлисе был сделан им первый набросок легенды о Данко, этом прообразе героических вождей революции, человеке, который вырвал из своей груди горящее сердце,

чтобы светить людям, изнемогавшим во мраке, и указать им путь к жизни и свободе. И, наконец, наиболее замечательная вещь этого ряда — «Девушка и смерть», сказка, которую по праву можно было бы назвать поэмой всепобеждающей жизни.

Время странствований «выпрямило» Горького, а жизнь и работа в Тифлисе определили его дальнейший путь. Глубокой осенью, в октябре 1892 года, он плыл Каспийским морем на рыбачьей шхуне на север, на родину, в Нижний, покидая полюбившуюся ему Грузию. Впечатления от величественной природы этой страны и романтической мягкости ее народа мощной волной подняли его к новым мыслям, завершая итоги странствий, работы и встреч.

О своем состоянии той поры Горький вспоминает так: «Я изнемогал от пестроты и тяжести впечатлений бытия, чувствуя себя богачом, который не знает, куда девать нажитое, и бестолково тратит сокровища, разбрасывая все, что имел, всем, кто пожелает поднять брошенное».

Отсюда начался для Горького новый и трудный путь воплощения пережитого в творчестве.

Внешние условия жизни в Нижнем мало способствовали этой работе.

Жил Горький в хибарке, служившей раньше баней, в саду у попа. Туда же к нему переехала зимой и Каминская.

«Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам .. В бане теплее, но, когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь».

После удачи с рассказом «Макар Чудра» Горький не оставлял мысли о литературной работе. Но одна удача еще не решала дела, и мы не знаем, сколько в течение года жизни в старой бане, ночами, среди мучительных колебаний и сомнений, было написано и уничтожено Горьким. И хотя он уже нередко «испытывал приливы горячей волны какого-то

странного самозабвения», но еще не верил, что мог быть серьезным литератором.

«Быть писателем, — об этом я тогда еще не мечтал. Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны жизни, все сердца. Хорошая книга, точно смычок великого артиста, касается моего сердца, и оно поет, стонет от гнева и скорби, радуется, — если этого хочет писатель».

С высоты такого представления о роли литературы Горький строго судил свои писания и не мог преодолеть недоверия к себе. Вероятно поэтому его приятель, студент Васильев, обучавший его когда-то «философии», отвез без его ведома рассказ «Емельян Пиляй» в Москву, в «Русские ведомости», большую либеральную газету того времени.

Рассказ был принят и напечатан в номере от 5 августа 1893 года.

Повидимому это обстоятельство, а также нужда в деньгах побудили Горького поступить решительнее. Он послал несколько рассказов в казанскую газету «Волжский вестник». Рассказы были напечатаны, и издатель Рейнгардт прислал Горькому «довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей». Пытался Горький поместить в этой газете и свою сказку в стихах — «Девушка и смерть», но потерпел неудачу. «Рейнгардт, — писал мне А. М., — нашел ее не цензурной». Зато удалось напечатать рассказ «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины», появившийся в номере от 4 сентября 1893 года. Хотя Горький скрыл свое авторство и рассказы подписал инициалами, но Рейнгардт раскрыл Короленке подпись, и тот пожелал увидеться с автором.

Горький так вспоминает об этой встрече:

«Я застал его за чайным столом в маленькой комнате окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот, вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, всё аллегории пишете. Что же, — и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — недурное качество».

Провожая после продолжительной беседы Горького, он снова пожелал ему успеха.

«— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный. —

Ведь вы уже пишете, печатаетесь, — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем»...

Через некоторое время после этого посещения Горький принес Короленке новые рукописи: «О рыбаке и фее» и «Старуха Изергиль». Первую вещь Короленко забраковал, а о сказочном материале второй говорил неодобрительно: «Это романтизм, а он — давно скончался... Мне кажется, вы не своим голосом поете. Реалист вы, а не романтик, реалист!»

Если Калюжный указал Горькому его путь, то Короленко явился внимательным руководителем его на этом пути, отзываясь на каждый появлявшийся рассказ Горького.

«— Вы чересчур увлекаетесь словами, — говорил он, — нужно быть более скупым».

«— Не прикрашивайте людей».

«Его советы и указания всегда были кратки, просты, — вспоминал Горький, — но это были как раз те указания, в которых я нуждался».

Особенно памятна Горькому была долгая беседа летним утром 1894 года, когда они после бессонной ночи гуляли по полю на окраинах Нижнего. Короленко много и подробно говорил о рассказе «Дед Архип и Ленька» и о других рассказах Горького, указывая ему на то, что пишет он торопливо, наспех, что нередко видна в его рассказах недоработанность, неясность.

«— Вот что, — сказал он в заключение, — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно».

Вернувшись домой, Горький тотчас же принялся за работу. Сюжетом он взял случай, рассказанный ему одесским босяком, его соседом по койке в больнице города Николаева. Рассказ получил название «Челкаш». Он был написан в два дня, и рукопись отослана к Короленке.

«Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинетике, он оживленно говорил:

— Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик!»

Рассказ принял журнал «Русское богатство». Литератур-

ный путь становился для Горького яснее, силы крепли, но вместе с этим росло неблагополучие в отношениях с близким ему человеком. В очерке «О первой любви» Горький рассказал историю этих отношений. Веселые затеи Каминской, обладавшей живым и общительным характером и окружавшей себя сомнительной ценности друзьями, приводили к тому, что «друзья» поощрялись в искусстве сплетен, — все это не мало досаждало, мешая работать.

Присматриваясь к жизни Горького, Короленко делал свои выводы.

«— Слушайте, — сказал он ему однажды, — не уехать ли вам отсюда? Например, в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете». Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?»

Говоря так, Короленко имел в виду Н. П. Ашешова, либерального журналиста, высланного из столиц за политическую неблагонадежность. Обосновавшись в Самаре, он в марте 1894 года предпринял реорганизацию «Самарской газеты» с целью превратить ее из бесцветного провинциального листка, каким она была до сих пор, в большую областную газету. Авторитет Короленки в кругах поволжской журналистики был очень высок, и Ашешов прислал письмо с просьбой дать советы.

После настойчивых уговоров со стороны Короленки Горький согласился с его предложением — переехать в Самару.

Меняя Нижний на Самару, Горький менял случайную литературную работу на профессию: «Самарская газета» предложила ему 100 рублей в месяц за ежедневный фельетон и, сверх того, 3 копейки за строчку беллетристики.

В «Самарской газете» Горький обязался давать и беллетристический воскресный фельетон под общим названием «Тюремные картинки». Среди этих рассказов были помещены и такие известные его вещи, как «Вывод», «Песня о Соколе», «На плотах», «Дело с застежками», «Однажды осенью».

До переезда в Самару Горький уже два года работал в поволжских газетах исключительно как беллетрист. Но, по-видимому, и Короленко и Ашешов усмотрели в его рассказах нужные для газеты элементы публицистики, потому что вызван был он в Самару для участия и в других отделах газеты. На первых порах ему был поручен отдел «Очерки и наброски», нечто вроде обзора печати. А через несколько месяцев к нему перешел ежедневный фельетон под заглавием «Между прочим», который он вел в течение года, подписывая его псевдонимом Иегудиил Хламида.

В своих воспоминаниях Горький назвал работу фельетониста Хламиды «окаянной работой». Обязанность ежедневных выступлений, обязанность выискивать темы, подневольность этого труда делали его окаянным.

Круг тем фельетониста Хламиды был очерчен интересами города: пыль на улицах, конка, безобразия в больнице, дикие «развлечения» обывателей, опять о грязи и пыли, о местных хулиганах — «горчишниках», о бесконечных думских комиссиях, о городской управе, о сплетнях, о скуке и сероети провинциальной жизни.

Тон фельетонов Иегудиила Хламиды был обличительным и мрачным, подстать удивительному имени фельетониста.

«Я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и еще многим», — шутливо характеризует Горький свое тогдашнее настроение.

Но обличать можно было лишь в пределах дозволенного, и тем сильнее обрушивался Хламида на серую массу сытых, самодовольных обывателей, оплот мертвой спячки и застоя русской жизни. Часто этот «разговор в сердцах» был обращен не к определенным лицам, а именно ко всей массе мещанского, купеческого и чиновнического населения Самары.

Так, по поводу даже такого, например, незначительного события, как приезд в Самару на гастроли карликов, Хламида писал:

«Наверное, карлики в Самаре будут иметь колоссальный успех. Всякому любопытно посмотреть на двух людей, еще более маленьких, чем он сам.

Самарские люди будут смотреть лилипутов и услаждать себя сообразными случаю размышлениями:

— Мы еще что! Конечно, мы люди не крупные, а все-таки бывают живые люди и еще мельче, чем мы».

Неудивительно, что такие нападки вызывали возмущение у лиц, считавших себя задетыми, и, по словам Хламиды, он чуть ли не каждый день получал по почте анонимную брань от самарских обывателей.

«Я не нарушаю общественной тишины, — иронически отвечал Хламида, — хотя искренно желаю сотрясти и возмутить ее спокойствие».

Так активно начал свою деятельность Горький-публицист. И далеко не всегда, конечно, его фельетоны были с таким общим адресом. Очень злые фельетоны были направлены против типографщика Грана, избившего мальчика, против фабриканта Лебедева, по халатности которого произошло увечье на фабрике. Лебедев даже написал «опровержение»

(через букву ять), в котором, обзывая Хламиду «болезнетворной бациллой в здоровом организме печати», взывал к издателю «Самарской газеты», купцу Костерину, который, по мнению Лебедева, должен был бы «ближе, чем Хламида, стоять к жизни».

И вообще — для заправил города, купцов и промышленников, засевших в городском управлении, а также для всякого рода средних и мелких хищников Хламида был, несомненно, неприятной, беспокойной фигурой. Он обличал скупщиков, прижимавших крестьян, администрацию железных дорог, бессовестно обсчитывавшую мелких служащих, лавочников, патриархально эксплоатировавших своих «молодцов», и т. д.

Он поднимал целые кампании в защиту отдельных лиц или групп населения. Так, он настаивал на том, что город обязан дать помещение для нанимающейся домашней прислуги, вынужденной мокнуть под дождем в ожидании нанимателей («Корневильский рынок в Самаре»); боролся за отмену возмутительного постановления городской управы о выселении бедноты с городской земли, — Иегудиил Хламида был представителем всей низовой массы города, не имевшей права голоса.

Сильна, вероятно, была самарская скука и велика дикость этого города, владения промышленников мяса и хлеба, если так мрачен был Иегудиил Хламида. Не могло это не отразиться и на творчестве М. Горького. В ряде рассказов самарского периода, забракованных впоследствии автором, мы встречаем резко пессимистические ноты. В одном из первых самарских очерков он пишет: «Жизнь темна, я достаточно потолкался в ней...» и в одном из своих последних фельетонов (пасхальный фельетон 1896 года) повторяет: «Жизнь скучна и пуста, и темна», — это вместо обычного-то пасхального поздравления, с которым провинциальный журналист по традиции всегда обращался к читателю! Да, благонамеренные обыватели имели основание быть недовольными Иегудиилом Хламидой.

Но, как бы то ни было, и в качестве публициста и в качестве беллетриста Горький занимал в течение года видное место в «Самарской газете», был необходимейшим лицом в редакции. А в 1896 году он получает предложение издателя газеты «Одесские новости» корреспондировать из Нижнего. К тому времени и «Нижегородский листок» реформировался по образцу «Самарской газеты» и тоже превратился в вид-

ный областной орган. Горький получил приглашение сотрудничать и в нем.

В Нижнем-Новгороде открывалась в 1896 году «Всероссийская промышленная и художественная выставка», и издатели «Нижегородского листка» необходимо было на это время укрепить наверняка.

12

То были годы еще небывалого в России промышленного подъема. Рост заводской промышленности поднимал спрос на труд, а нищающая все больше деревня интенсивно выбрасывала из своих недр свободную, то есть излишнюю, рабочую силу, подлежавшую новым, промышленно-капиталистическим формам эксплоатации. Словом, перспективы, — казалось капиталистам, — были самые радужные. Русский промышленный капитал, поощряемый министром финансов С. Витте, на «Всероссийской выставке» делал смотр своим силам.

Перемена Горьким города и газеты ставила и новые задачи перед ним как публицистом. Расширялся круг тем. Пыль на улицах, спящие на заседаниях гласные, обывательская косность, самодурство купцов и заправил города, — вся эта местная «злоба дня» осталась позади. В центре нижегородской жизни стояла «Всероссийская выставка», и это ставило на очередь ряд вопросов общекультурного и общегосударственного масштаба.

Положение сотрудника либеральной газеты, подцензурной губернским властям, в условиях усиленной охраны «порядка» (на выставку ожидался царь), ставило вполне понятный предел публицистическому темпераменту Горького. Но и в этих условиях ясны были его тенденции и прежде всего — его ненависть к купеческо-мещанскому быту, который он показывает все тем же — первобытным и диким. Никакие торжества и флаги не замаскируют этой дикости.

«Я приехал в Нижний, — пишет он в своей первой корреспонденции в «Одесских новостях», — и на меня, нижегородца, знающего город, как свои пять пальцев, — он произвел странное впечатление чистотой, которая еще год тому назад совершенно не была ему свойственна, новыми зданиями, скверами, сетью проволок, опутавших его главные улицы, по которым проложена линия электрической железной дороги, и всей своей физиономией, благообразной, чистенько умытой, утопающей в смешанном аромате свеже-растворенной извести, асфальта, масляной краски и, конечно, карболки.

...И невольно вспоминаются наши «волгари», люди «по старой вере», благочестивые, сытые, жестокие; люди, ворочающие сотнями тысяч, имеющие десятки барж и пароходов и обсчитывающие своих рабочих на двугривенные; люди, от которых в будни пахнет дегтем, по́том и кислой капустой и которые, надевая на себя в торжественных случаях вместо долгополых сюртуков и поддевок «цивильное» платье — и в цивильном платье остаются волгарями и сквозь тонкий аромат духов Аткинсона — отдают скаредничеством, кислой капустой, по́том, нефтью и всеми другими специфическими запахами истых волгарей».

Разоблачать показное и вскрывать сущность — такому методу Горький остался верен и в описании выставки.

Готовилась эта выставка в атмосфере угодливого казенного пафоса и расторопного урапатриотизма. А хозяева ее, русские промышленники, поняли задачи выставки весьма просто: она в их представлении являлась грандиозной рекламой фирме, и все старание их заключалось в том, чтобы крикливыми эффектами «перешибить» соседа и конкурента. Детищем их мощной фантазии была, например, колонна из стеариновых свечей двух аршин в поперечнике и восьми аршин в высоту. Не уступали ей по изобретательности и бюсты четырех императоров из мыла или удивительные ворота из бутылок трех цветов — цветов национального флага.

Впрочем, зрелища, повидимому, удовлетворяли публику. «Она, — писал Горький, — просто смотрит на разные вещи, но знать, из чего, как, даже — зачем они делаются, не находит нужным». И вот Горький, подходя к описанию каждого отдела, ставит вопрос о некультурности самой организации выставки, полностью пренебрегшей показом трудовых процессов, а отсюда следовал прямой переход к вопросам быта и эксплоатации рабочих.

Обозревая павильон горных округов Сибири, Горький писал: «Очень хочется знать, кто, чем и как вытащил из земли эти 10.000 пудов золота и дал государству за 30 лет почти 300.000.000 золотых рублей, не считая серебряных и медных, не принимая во внимание драгоценных камней. Кто они, эти добрые гномы? Как они это делают и как они при этом поживают?»

Показывать, как поживают «гномы» — рабочие, совсем не входило в программу устроителей выставки. Поэтому обозреватель, по своей инициативе, всюду, где мог, восполнял эти пробелы и рассказывал читателям о своем личном опыте знакомства с рабочим бытом. Павильон бакинских промыслов

Нобеля даст ему повод подчеркнуть, «как скверно живется людям в этой обетованной стране нефтяников», — посещение в 1892 году «черного города» в поисках работы ему памятно. По поводу сообщения в рекламной брошюре казанского завода братьев Крестовниковых о больнице и спальне для рабочих он писал так: «Я видел в 1889 году больных, которых выдворяли из этой больницы, решив превратить ее в склад душистого мыла. И спальная есть, и в ней действительно спят рабочие, спят и — представьте! — не задыхаются в ней, хотя к этому приняты все меры: спальная полна полна запаха разных кислот, гниющего жира, сгоревшей нефти, мыла, аммоniака и «русского духа».

О кожевенном заводе Алафузова, такие хорошо знакомом ему по Казани, Горький рассказывал читателям:

«Грязь кругом невыразимая, рабочие то и дело болеют всякими болезнями от хронического катарра бронхов — результат облаков пыли, стоящих в мастерской, до сибирской язвы — результат полного отсутствия гигиены в обработке кожи. Рабочие в чесальне — все страдают трахоматозным воспалением слизистых оболочек глаз: болезнь, часто приводящая к слепоте. При заводе нет ничего, что необходимо, ни достаточного количества воздуха в мастерских, ни больнички, но система штрафов удивительно точно разработана».

Чтобы понять огромность проведенной Горьким работы во время выставки, нужно знать, что, помимо большого количества рассказов, напечатанных им в это время в газете, он в течение 3—4 месяцев дал репортажа, корреспонденций, фельетонов, очерков и статей несколько десятков печатных листов. А чтобы понять его душевное состояние, его чувство одиночества, отчужденности от окружавшей его среды, — нужно вчитаться в такие, например, места его фельетонов:

«После дня, проведенного среди разнообразной архитектуры выставочных зданий, в пестром хаосе красок, в разношерстной толпе людей — чувствуешь, что мозг твой засорен, душа подавлена и нервы тупы. Хочется уйти из царства индустрии, из сферы всевозможных диковин и чудес, — уйти куда-нибудь подальше, куда не долетал бы шум этого искусственно созданного мира и где было бы более просто, не так тесно и не так много резких противоречий, оскорбляющих глаза и душу. О, конечно, выставка имеет большую цену... для торговцев и фабрикантов — но она утомляет человека... и... слишком много горьких дум она возбуждает».

Мир торговцев и фабрикантов, парадировавший на выставке, возбуждал у Горького отвращение, но такое же от-

вращение он испытывал и к миру буржуазной интеллигенции, обществу дельцов, обслуживающих крупный капитал, инженеров, адвокатов, выставочных организаторов и «патриотических» журналистов. Возвращаясь не раз к характеристике этого общества, Горький словно не находит достаточно резких слов для того, чтобы заклеймить его неискренность, лицемерие, алчность...

«Выставка поучительна гораздо более — как правдивый показатель несовершенства человеческой жизни, чем — как картина успехов промышленной техники страны. А впрочем — речи о таких вещах возбуждают скуку у читателей; читатель в газете ищет прежде всего развлечения. Уступая его вкусу на сей раз, поговорю о развлечениях, ибо и они могут иллюстрировать смысл жизни так называемой «культурной толпы», ничуть не хуже всего другого, чем живет эта толпа. Ведь она, в сущности, культурна только внешне, ее культура — это культура портных и сапожников, культура галстука, внутренне же она — стадо, как и всякая другая толпа. Этих культурных людей не в чем винить — это люди, у которых вместо желаний — похоти».

Если мы обратимся к рассказам, над которыми Горький работал в это время, то почти в каждом из них мы встретим отголоски этих же настроений.

Вот «Озорник», рассказ, в котором сатирически изображен либеральный болтун, редактор провинциальной газеты, работающий на прижимистого купца-издателя; рассказ «В степи» — откровенная компания босяков противопоставлена лицемерному «порядочному обществу», в котором, «даже когда берут за глотку своего ближнего — стараются сделать это с возможной любезностью и соблюдением всех приличий, уместных в данном случае»; вот «Болесь» — рассказ интеллигента о «падшей» девушке, — в конце рассказа он признает себя самого «глубоко падшим... в пропасть всяческого самомнения» и убеждения в своем превосходстве.

Еще характернее известное отступление в рассказе того же времени «Коновалов». Речь там идет о невозможности для автора долго жить в «культурном обществе» и не пожелать «уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты-сует».

«Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, или итти гулять

по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног. Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку. . .» Горький говорит о своем уходе из Нижнего в 1891 году, но после сделанных сопоставлений мы вправе, пожалуй, сказать, что речь идет здесь и об «уходе» Горького из Нижнего в 1896 году. А в ряде последующих рассказов («Бывшие люди», «Проходимец», «Товарищи», «Скуки ради» и др.) мы видим, как охотно Горький отправляется в «трущобы городов» и на «дороги родины», противопоставляя «искренность», «цельность» и «простоту» трущоб — лицемерию и утонченной жестокости «общества». Горький-романтик, автор рассказов «Макар Чудра», «Песня о Соколе» и «Старуха Изергиль», все более становится Горьким-реалистом, едко анализирующим классовое общество.

Скоро Горький и в действительности покидает Нижний. Переутомление работой во время выставки вызвало обострение туберкулезного процесса. В начале октября он слег в постель и в течение трех месяцев претерпевал резкое обострение болезни, грозившей ему, по словам лечившего его тогда врача В. Золотницкого, смертью. Только в январе, получив ссуду из Литературного фонда, Горький уехал в Крым, где доктор Алексин поставил его на ноги.

Весной 1897 года Горький поселяется в селе Мануйловка Полтавской губернии и здесь, освобожденный от срочной газетной работы, отдыхает, устраивает деревенский театр, участвуя в нем в качестве актера и режиссера. В большинстве актерами были крестьяне-украинцы; среди них Яков Бородин был настолько талантлив, что приезжавший смотреть театр украинский драматург Карпенко-Карый со слезами уговаривал Бородина вступить в его труппу, но тот не соблазнился славою актера и остался в селе.

Пробыв в Мануйловке до глубокой осени, Горький все лето занимался театром. Когда он уезжал, то, — по рассказу А. М., — крестьяне — актеры и зрители — устроили ему в сельской чайной торжественный, задушевный обед, серьезно выпили, пели песни, плакали и, наконец, поехали всей массой провожать Горького за 15 верст на станцию Галещина.

В октябре Горький снова в Крыму, начало зимы живет в Тверской губернии у своего друга Н. З. Васильева, теперь ставшего лаборантом писчебумажной фабрики Кувшинова, а в феврале поселяется в Нижнем.

1898 год был знаменательным годом в жизни Горького. В этом году впервые вышли отдельным книжным изданием его произведения — два томика по десяти рассказов в каждом. Устроить издание этих книг было не просто. Несколько издателей отказались от такого предложения, а известная издательница того времени О. Н. Попова прямо заявила, что ее фирме не пристало издавать рассказы, шедшие фельетонами в провинциальных газетах. Организовалось особое издательство для выпуска этих книг,— два общественных деятеля, Дороватовский и Чарушников, взяли на себя риск такого предприятия. Но, повидимому, и они не очень были уверены в том, как встретит рассказы нового автора читающая публика, потому что Горькому предложено было написать предисловие, мотивирующее появление необычайного материала. Из сохранившегося ответа Горького видно, что автор понимал желание издателей, но исполнить это желание затруднялся:

«Огорчен, что не могу написать предисловие, но — не могу. Пробовал, знаете, но все выходит так, точно я кому-то кулаки показываю и на бой вызываю. А то — как будто я согрешил и слезно каюсь. И, чувствуя, что все это не подходяще — бросил я это дело».

Известно, какой успех имели эти два маленькие томика, вышедшие под названием «Очерки и рассказы». За десять месяцев разошлось трехтысячное издание, — в то время для молодого автора это было более чем серьезным успехом. Появление «Очерков и рассказов» в то же время стало событием не только в истории литературы, но и в истории революционного подъема 90-х годов.

Еще до выхода этих книг охранители феодально-полицейской империи приступили к новому, более подробному дознанию о личности Горького.

При обыске в Тифлисе у Афанасьева (сочинителя Горького в 1892 году) нашли фотографическую карточку «с изображением мужчины в русском костюме»; на оборотной стороне карточки была надпись: «Дорогому Феде Афанасьеву на память о Максимыче». И хотя Афанасьев отозвался незнанием фамилии мужчины в русском костюме, но дознаться о ней не составило, повидимому, тифлисским жандармам особенного труда. Среди других сведений по делу Афанасьева, обвинявшегося в распространении нелегальной литературы, в департамент полиции сообщалось о Пешкове на основании свидетельских показаний: «Это в высшей степени подозрительный человек: начитанный, хорошо владеющий пером, он

исходила почти всю Россию (все большей частью пешком); в Тифлисе же пробыл около года без определенных занятий и куда-то отсюда выехал».

То обстоятельство, что прибытие Пешкова в Тифлис в 1891 году, «кратковременное пребывание в нем и отъезд его, несмотря на вполне обеспечивающую его материальную должность, являются загадочными», а также совокупность свидетельских показаний по делу Афанасьева, уличавших Пешкова в политической неблагонадежности, побудили тифлисских жандармов принять чрезвычайные меры. В Нижний было послано телеграфное требование — «обыскать, арестовать и препроводить в Тифлис по этапу».

11 мая Горький был доставлен в Тифлис вместе с «запечатанным тюком вещественных доказательств» (свыше 500 писем, записок и т. п.) и заключен в Метехский замок «в отдельном помещении».

Неизвестно, как долго продлилось бы время заключения Горького и процедура его допросов (дело Афанасьева велось уже в течение года), если бы бесцеремонность тифлисских жандармов не обратила на себя внимание даже департамента полиции. С выходом «Очерков и рассказов» Горький становится широко популярен в литературных кругах Петербурга уже столь известно об его аресте и «препровождении». Разбуженный неловкостью своих агентов, департамент полиции посылает им строгий запрос, — чем вызвана столь радикальная мера и почему нельзя было допросить Горького в Нижнем. Пришлось дать объяснения, и в объяснениях этих необходимость ареста и затребования арестованного по этапу мотивируется почти комически, — во-первых, «удобством», по обстановке дела, допроса в Тифлисе, во-вторых — непоседливостью Горького, опасением, «чтобы означенный Пешков не выбыл бы куда-либо, так как по дознанию являлась небезызвестною его любовь к передвижениям». Так, до своего прибытия в 1891 году в Тифлис, Пешков, пройдя пешком из Нижнего-Новгорода в Бессарабию, хотел оттуда проникнуть в Румынию, чтобы затем пройти во Францию, но, не быв пропущенным через границу, он отправился в Крым и Закавказье. Пробыв затем в Тифлисе почти до конца 1892 года, он выбыл отсюда и последовательно проживал в Нижнем-Новгороде, Самаре, Ялте, Алупке, в Полтавской и Тверской губерниях».

Неприятнее всего для жандармов было то обстоятельство, что допросы Горького не дали никаких результатов. Правда, нашелся свидетель, который утверждал, что, встречаясь

в 1892 году с Пешковым, был «поражен его явной политической неблагонадежностью, выражавшейся в особенно резких, крайних его суждениях, особенно по рабочему вопросу», «что Пешков, несомненно, был причастен к рабочей пропаганде, так как часто, много и резко говорил об эксплоатации рабочих»,— но все это относилось к прошлому, и связать с нелегальной организацией Афанасьева дело Горького не удалось.

Он был освобожден 29 мая и отдан под особый надзор полиции. Жандармский ротмистр Конисский «предложил мне покинуть Тифлис в 24 часа, — писал мне А. М., — а когда я заявил: хочу в баню! — дал мне жандарма, с которым я и мылся».

Итак, обвинить Горького по тифлисскому дознанию не удалось, а в «запечатанном тюке» с его бумагами не обнаружено, как доносили жандармы, ничего «преступного» и даже «предосудительного». Тем не менее фигура этого цехового, ставшего к тому времени уже всероссийской известностью, внушала столь сильное беспокойство, что теперь он был отдан уже под «особый надзор» полиции.

Это значило, что теперь Горький мог переезжать с места на место только по особому разрешению соответствующих жандармских управлений, следовать по утвержденному маршруту «без права останавливаться где бы то ни было, за исключением случаев болезни или каких-либо непреодолимых препятствий», и с обязательством сообщать об остановках и прибытии местной полиции.

15

Из Тифлиса Горький поехал в Самару на кумыс, а оттуда в августе вернулся в Нижний. Зиму он намерен был посвятить большой работе.

«Отношения публики к моим писаниям,— писал он Дороватовскому,— укрепляют во мне уверенность в том, что я, пожалуй, и в самом деле сумею написать порядочную вещь. Вещь эта, на которую я возлагаю большие надежды,— ибо намерен возбудить ею стыд в людях,— мною уже начата, и зимой я буду ее продолжать».

Вещь эта, получившая название «Фома Гордеев», дала читателям широкую картину нравов большого купеческого города, хозяева которого не зарекались от уголовных подвигов и в то же время тянулись уже и к политической власти

в стране. В своих позднейших комментариях к этой повести, говоря о психологии «хозяев», опоры мещанского «порядка», Горький вспоминает:

«Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96-ой год. В этом году в Нижнем-Новгороде была Всероссийская выставка и заседал Торгово-промышленный съезд. Я видел там представителей крупной промышленности всей России, слышал их жестокие споры с «аграриями». Не все в их речах было понятно мне, но я чувствовал главное: это — женихи, они влюбились в богатую Россию, сватаются к ней и знают, что ее необходимо развести с Николаем Романовым».

«Фома Гордеев» печатался в течение 1899 года в петербургском журнале «Жизнь», и к концу этого периода известность Горького возросла необычайно. В столицах в честь писателя организовывались литературные вечера, о нем читали лекции, писали и печатали брошюры. Когда на передвижной выставке появился портрет Горького работы Репина, он стал «гвоздем» выставки. Публика, особенно молодежь, с жадным вниманием всматривалась в черты нового писателя.

При такой чрезвычайной популярности Горького происходили и комические эпизоды. Появились лже-Горькие, принимали за Горького похожих на него людей и т. д. А когда он в первый раз приехал в Петербург, ему на себе пришлось испытать силу обывательской назойливости и глупости. Репортеры буржуазной и бульварной прессы осаждали писателя, следуя за ним по пятам. Каждое слово Горького подслушивалось, каждый поступок приобретал характер сенсации.

Жизнь в Нижнем избавляла его от этой ненужной шумихи. Там была другая обстановка. Его нижегородская квартира, по словам свидетеля тех лет, стала «центром, к которому стягивались все нити общественной, культурной и художественной жизни города». Отсюда шли нити и культурно-общественной работы в Нижнем. Горький организует сбор учебных пособий для детей бедняков, призывает жертвовать на бесплатный каток, хлопочет об устройстве общежития для ночлежников-золоторотцев, наконец, устраивает для нижегородских малышей ежегодно грандиозные «елки», на которых тысячи детей получали одежду и другие подарки; он, с большим умением объединяя вокруг этих предприятий местные общественные силы, практически организует помощь беднейшему населению города.

Связь с «местными силами», конечно, не ограничивалась такого характера работой. Близкое участие Горького в делах партийной социал-демократической организации угадывалось

полицией и жандармами, и много стараний прилагалось ими для обнаружения связи его с революционной работой Нижнего и центра. Правда, повторить головотяпство тифлисских жандармов теперь казалось немыслимым, приходилось доискиваться более или менее солидных оснований для ареста или даже обыска у популярного писателя.

Живя в Нижнем, Горький устанавливает тесные связи и с революционной молодежью, и с сормовскими рабочими, и с партийными организациями Сормова и Нижнего. «Революционная жизнь в Нижнем, совершенно затихшая после выставки, — доносит охранник Ратаев директору департамента полиции, — с приездом Горького ныне опять бьет ключом, и все, что есть только революционного в Нижнем, дышит и живет только Горьким».

Немалое затруднение для хранителей империи состояло в том, что Горький открытую общественную деятельность, которую ему невозможно было запретить, совмещал с разнообразной и широкой помощью революционному движению. Об этом очень толково доносит департаменту полиции провокатор Гурович, бывший агентом охранки в кругах революционной интеллигенции. Он сообщает, что Горький «участвует в разных революционных организациях, причем если не выступает активно, то все-таки стремится создавать благоприятные условия для существования подобных организаций. Пешков удачно соединяет легальные занятия (участие в редакциях, обществах и т. п.) с подпольной деятельностью и таким образом всякое легальное дело превращает в революционное».

Таким, в частности, делом была агитация за отмену необычайных репрессий против революционной части студенчества.

В 1899 году были опубликованы «временные правила», которыми предусматривалась отдача студентов в солдаты за «учинение скопом беспорядков», то есть за участие в демонстрациях и прочих массовых действиях. В декабре 1900 года эти правила были применены впервые: в Киеве свыше ста студентов за участие в сходке были сданы в солдаты. По этому поводу Горький писал знакомым писателям в Москву (письма сохранились в полицейских архивах): «Надо заступиться за киевских студентов. Надо сочинить петицию об отмене временных правил. Умоляю: хлопочите. Некоторые города уже начали». И в другом письме: «Настроение у меня, как у злого пса, избитого, посаженного на цепь... Отдавать студентов в солдаты — мерзость, наглое

преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов».

Студенческие волнения, усилившиеся после этой правительственной репрессии, привели к большой демонстрации 4 марта 1901 года в Петербурге, на площади Казанского собора, — демонстрация закончилась массовым избиением ее участников. В ответ на лживое сообщение правительства о событиях 4 марта появилась прокламация — «Опровержение правительственного сообщения», в которой разоблачалась предрешенная и обдуманная организация избиения беззащитных людей, — департамент полиции устанавливает, что автором «опровержения» является Горький.

12 марта нижегородским жандармам из Петербурга была послана департаментом полиции шифрованная телеграмма: «Известный вам Алексей Пешков, он же Горький, и нижегородский житель, сотрудник журнала «Жизнь», приятель Горького, некий Петров (Скиталец), приобрели здесь мимеограф для печатания воззваний к сормовским рабочим. Мимеограф отправили 10 марта через транспортную контору по адресу Печерка, аптека Кольберг, Вере Николаевне. Благоволите установить за получением мимеографа тщательное секретное наблюдение и, отнюдь его не арестовывая, выяснить осторожно, куда будет отвезен, и поставить то место под наблюдение». Департаменту полиции очень важно было обставить дело с Горьким наиболее верным образом, потому дополнительно сообщались такие директивы: «Выждать для производства обыска и ареста удобного момента, желательно было бы взять мимеограф вместе с лицами в самый момент воспроизведения ими предположенных воззваний к сормовским рабочим и произвести ликвидацию прикосновенной к этому делу группы тотчас же по появлении первого воззвания». Когда Горький выехал из Петербурга в Нижний, туда была дана телеграмма: «При ликвидации обыщите и арестуйте Алексея Пешкова обязательно».

Случилось, однако, так, что нижегородским агентам не удалось напасть на след мимеографа, и хотя Горький с группой товарищей был арестован по телеграмме, но «ничего явно преступного не обнаружено», — сообщали нижегородские жандармы департаменту полиции.

Таким образом, привлекая Горького к дознанию, выдвигая против него тяжкое по кодексу обвинение в «бунте против верховной власти», охранка не имела в руках нужных ей фактов. Оставалось пока одно — длить следствие и заключение. Но последним тоже пришлось поступиться.

В тюрьме вновь обострился у Горького легочный процесс. Стараниями друзей и давлением общественности удалось добиться осмотра его комиссией врачей, которая пришла к единогласному выводу: «Дальнейшее пребывание в тюрьме губительно повлияет не только на здоровье, но и на жизнь».

После месяца заключения Горький был выпущен из тюремного замка, но отдан под домашний арест. В отношении Горького это была довольно курьезная мера «предупреждения и пресечения преступлений». «В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую — другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них».

В сентябре 1901 года министр внутренних дел «до окончательного разрешения производящегося о Пешкове дела» постановил — «водворить его под гласный надзор полиции Нижегородской губернии, вне города Нижнего-Новгорода, в местности по усмотрению нижегородского губернатора».

Такой местностью оказался уездный город Арзамас, куда Горькому и предстояло отправиться. А так как здоровье его снова резко ухудшилось, то, для установления срока выезда, на полицеймейстера была возложена обязанность периодического освидетельствования здоровья поднадзорного «через правительственного врача». В конце концов удалось добиться разрешения перед ссылкой в Арзамас пробыть несколько месяцев в Крыму для лечения. Было разрешено поселиться до 15 апреля 1902 года в Ялтинском уезде, без дозволения жить в самой Ялте.

Известия о всех перипетиях дела Горького, поскольку они проникали в печать, обходили и столичные и провинциальные газеты, и одно это уже имело значение бродила. Но особенно была взбудоражена нижегородская молодежь, состав которой значительно пополнился студентами, высланными из столиц в связи с революционным движением. О ее бурном настроении хорошо говорит воззвание, изготовленное на гектографе в Нижнем и распространявшееся в Москве:

«Завтра, 8 ноября, в 8 часов утра с почтовым поездом в Москву приедет проездом в Крым Максим Горький. Из Нижнего он удаляется административно, то есть насильственно и незаконно. Весь Нижний возбужден этим новым проявлением насилия над любимым поэтом, воспевшим борьбу и свободу и певшим песню безумству храбрых. 3 ноября Горькому были устроены шумные овации на сту-

денческом вечере, 5 ноября был устроен банкет, на котором собралось около 130 человек местной интеллигенции, высланных сюда курсисток и студентов; был прочитан хорошо составленный адрес, покрытый многочисленными подписями, и свободно говорились при общем воодушевлении смелые, вызывающие речи. Завтра ему устраиваются демонстративные проводы, в которых объединяются все слои общества под одним общим знаменем открытого протеста. Не знаем, чем это кончится, нас, может быть, раздавят, но мы будем до последнего. Теперь мы обращаемся к московской учащейся молодежи и ко всему московскому обществу с просьбой присоединиться к нашему протесту, расширить его и постараться об устройстве таких же демонстративных встреч в городах, через которые поедет Горький. Теперь он едет в Крым через Харьков. Пускай же путь борца за свободу человеческой личности будет триумфальным шествием победителя, и еще раз смелым и открытым протестом общество откликнется на этот вызов правительства. Пусть мыслящая Россия покажет, что она уже развилась и окрепла для того, чтобы бороться за свои права, не боясь грубой силы. Вперед, товарищи, перед нами сила темная и большая, но уже занимается заря свободы и новой жизни».

Действительно, нижегородская революционная молодежь замечательно организовала демонстративные проводы Горького. Правда, она ошиблась в расчетах на то, что «все слои общества» присоединятся к ней. Либеральная интеллигенция, говорившая на банкетах затейливые речи, на улицу не пошла. Зато сама молодежь, можно сказать, перевыполнила план. Проведя демонстрацию на вокзале с пением песен, с лозунгами и разбрасыванием прокламаций, она в количестве нескольких сотен человек такой же демонстрацией прошла по городу, устроив на главной улице летучий митинг.

Это была первая политическая демонстрация в Нижнем, и, несмотря на уже достаточно известное властям значение Горького, полиция все же не ожидала такой силы протеста: значительные наряды ее чинов, — как рассказывал Алексей Максимович, — молились в это время в соборе за всенощной, — был канун дня Михаила Архангела, патрона полиции.

Не вина нижегородской молодежи была в том, что демонстративное «триумфальное» шествие не осуществилось в той форме, за которую она агитировала. Власти были научены опытом Нижнего и в дальнейшем оказались предусмотрительнее. За несколько верст до Москвы, на станции

Москва-Рогожская, Горькому неожиданно было объявлено, что, «за отсутствием разрешения, дающего ему право на пребывание в Москве, он в пределы столицы допущен быть не может», после чего кружным путем его доставили на станцию Подольск, и демонстранты, собравшиеся на вокзале, прождали безрезультатно.

В Харькове к приходу поезда собралось около трехсот демонстрантов, но в помещение вокзала они не были допущены. После этого они собрались на железнодорожном мосту, недалеко от вокзала, и ждали проезда поезда «с вероятною целью крикнуть «ура», — как сообщает телеграммой департаменту полиции харьковский губернатор. «Но из локомотива, — сообщается далее в донесении, — было на них пущено такое количество пара, что они вынуждены были разбежаться. Небольшая их часть, идя по Сумской, смешалась с выходящей из театра публикой, причем кем-то, личность коего в массе невозможно было установить, камнем были выбиты два окна редакции «Южного края».[1]

Характеризуя состояние страны и подъем в ней революционного движения, В. И. Ленин писал в «Искре»: «В Нижнем небольшая, но удачно сошедшая демонстрация 7 ноября была вызвана проводами Максима Горького. Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло — как справедливо выразился оратор Нижегородской демонстрации — в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города. Башибузуки обвиняют его в дурном влиянии на нас, — говорил оратор от имени всех русских людей, в ком есть хоть капля стремления к свету и свободе, — а мы заявляем, что это было хорошее влияние» (Ленин, Соч., том IV, стр. 345).

Сильнейшим фактором этого влияния была напечатанная Горьким в апреле 1901 года в журнале «Жизнь» «Песня о Буревестнике», воспринятая всей массой его читателей как романтический манифест революционного подъема.

14

В бытность Горького в Крыму произошел нашумевший эпизод с выборами его Академией наук по Отделению русского языка и словесности в почетные академики. Департамент полиции, у которого были свои большие счеты с Горь-

[1] Реакционная газета того времени. *И. Г.*

ким, возмущению занес в свои записи факт выборов: «Привлечен к дознанию по обвинению в революционной пропаганде среди рабочих и состоит под особым надзором полиции. Одни унижают, другие возвышают». Официальное признание заслуг Горького казалось охранникам чрезвычайно вредным для их дела. Тотчас была составлена подробная сводка результатов слежки за Горьким в течение двенадцати лет, кончая последним, наиболее серьезным «делом». Сводка эта была доложена министру внутренних дел и через него — царю. Известно теперь, что тот, тоже с возмущением, «начертал» на докладе об избрании Горького: «Более чем оригинально!»

За этой резолюцией последовал прямой приказ Николая II в письме министру народного просвещения, приказ с «высочайшим» окриком: «...И такого человека в теперешнее смутное время Академия наук позволяет себе избрать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим и поручаю вам объявить, что по моему повелению выбор Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии». Через несколько дней в «Правительственном вестнике» выборы Горького были объявлены от имени самой Академии недействительными.

Возмущенные таким наглым произволом, почетные академики А. П. Чехов и В. Г. Короленко вернули свои дипломы. Буржуазная же и бульварная пресса, как по сигналу, подняла улюлюканье, и в этом была положительная сторона инцидента, — замаскированный противник, с которым необходимо было публично размежеваться, откинул лицемерное признание и перешел на открытую брань — «одни унижают, другие возвышают».

В своем художественном творчестве Горький и сам твердо держал курс на размежевание. В пьесе «Мещане», которая как раз в эти дни впервые шла на сцене Московского Художественного театра, рабочий-машинист Нил с его страстью к борьбе и пафосом жизни противопоставлен студенту Бессеменову, исключенному из университета за участие в студенческих волнениях и уже раскаивающемуся в своем излишнем «увлечении». Этот «мещанин, бывший гражданином полчаса», недалеко уйдет от своего отца, домовладельца и кулака. Разве только «переставит мебель» в его доме, как говорит один персонаж пьесы. Все это было сильнейшим ударом по двуличной и бесхребетной либеральной интеллигенции.

Настороженность властей в отношении Горького была так велика, что вначале «Мещане» были запрещены совсем, а по-

том разрешены только для четырех абонементных спектаклей. Министр внутренних дел Сипягин писал московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Романову:

«Хотя из пьесы «Мещане» устранены все неудобные в цензурном отношении места и выражения, но, принимая во внимание широкую популярность Горького в известных кругах публики и особенно молодежи, а также направление названного писателя, я признал необходимым командировать на генеральную репетицию означенной пьесы начальника Главного управления по делам печати князя Н. В. Шаховского. Ввиду тех же соображений не благоугодно ли будет Вашему императорскому высочеству назначить для присутствования на генеральной репетиции пьесы «Мещане» особое лицо, которое могло бы доложить Вам о сценическом впечатлении, производимом первым драматургическим опытом Горького. Таким образом представится возможность не допустить до публичного воспроизведения тех отдельных мест или выражений, которые в чтении не производят отрицательного впечатления, но каковые в исполнении на сцене могут вызвать нежелательное действие».

Кроме «сценического впечатления», внушал беспокойство и самый факт горьковского спектакля, ожидание, что в связи с возмущением по поводу «отмены» избрания Горького в Академию будет устроена во время спектакля в его честь демонстрация. Поэтому, чтобы заодно с «чистой» абонементной публикой не проникли в театр демонстранты, поставлены были на места капельдинеров переодетые городовые.

«Надо было видеть, — вспоминает В. И. Немирович-Данченко, — эти большие тела, казавшиеся необычайно неуклюжими во фраках, эти красные руки, не умеющие справляться с билетами, чтобы представить, до какого фарса могли доходить административные распоряжения».

Впрочем, сходно с этим поступала и арзамасская полиция: поняв, очевидно, такую меру, как «надзор», буквально, она нагло ставила к окнам высланного писателя полицейского, который бесцеремонно заглядывал в квартиру, когда находил это нужным.

1902 год привел Горького к еще более тесным связям с революционной социал-демократией, органом которой была старая «Искра», руководимая В. И. Лениным. В делах департамента полиции сохранилось перехваченное письмо за границу, сообщавшее о результатах свидания Горького с представителями партии в Москве, где он был проездом в Петербург в октябре этого года. В письме сообщалось:

«Свидание наше носило полуофициальный характер... Мне было крайне отрадно слышать, что все его симпатии лишь на нашей стороне... Единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным находит лишь «Искру», и нашу организацию — самой крепкой и солидной. Очень хочет он познакомиться с нашим направлением, нашими всеми изданиями и практикой нашей работы, и так как его сочувствие на нашей стороне, то он и хочет помогать нам, чем может, во-первых, понятно, деньгами, а потом предложил даже, что не может ли он исполнить какое-нибудь поручение в тот город, куда он едет... Он нам будет давать каждый год по 5000 рублей, из них две тысячи можно будет получить в ноябре, так что вы на них вполне в это время можете рассчитывать. Но это минимум, и если ему удастся устроить несколько предприятий, то этот минимум может увеличиться до больших размеров... Потом я видела его еще раз, и он очень просил повидать нас еще раз, как только будет на обратном пути. Из этого я вижу, что мы произвели на него хорошее впечатление, чему очень обрадована. Он же произвел прямо чарующее впечатление, особенно тем, что все его симпатии лежат лишь на нашей стороне, его готовностью быть полезным всем, чем может, его задушевностью и прямотой».

К концу 1902 года относится появление на сцене Московского Художественного театра новой пьесы Горького «На дне», имевшей у зрителей совершенно исключительный успех. Последняя степень человеческого убожества, отчаяния и бесправия в сопоставлении с высокой защитой Человека и его правды, все это создавало сильнейшее впечатление, вызывая бурную реакцию зрительного зала.

Переосторожничав с пьесой «Мещане», на этот раз власти «не досмотрели». «Как и следовало ожидать, — рассказывает Немирович-Данченко, — «На дне» цензурой было совершенно запрещено. Пришлось ехать в Петербург, отстаивать чуть не каждую фразу, скрепя сердце делать уступки и, в конце концов, добиться разрешения только для одного Художественного театра. От ряда бесед с тогдашним начальником Главного управления по делам печати, профессором Зверевым, у меня осталось впечатление, что «На дне» было разрешено только потому, что власти рассчитывали на решительный провал пьесы».

Расчет этот в полной мере не оправдался. Хотя правительство и прилагало все силы к тому, чтобы локализировать успех пьесы, решительно запрещая ее постановку в других

театрах, успех был так шумен, что приводил реакционных вожаков в ярость. Монархический журнал «Русский вестник», например, прямо взывал к буржуазной публике, прося ее опомниться и не забывать своих классовых устоев и своей классовой «нравственности»: «Нельзя не пожалеть того общества, которое в полном ослепении самосознания, в забвении своих устоев, своих верований, в растлении нравственности рвется, как римская толпа времен цезарей, ко всякой новинке и рукоплещет в неистовстве смраду, грязи, разврату, революционной проповеди... в то время как сам босяцкий атаман Горький Максим ударами пера, как ударами лома, рушит и самую почву, на которой стоит это общество. Какой вредный писатель! Какие жалкие, слепые поклонники, читатели и зрители!» Вот как испуганы были крепостники и черносотенцы!

Успех пьесы перекинулся и на Запад. На Западе Горький был широко известен уже в 1899 году, когда стали появляться переводы его рассказов на европейские языки. К 1901 году известность эта настолько возросла, что, например, в Германии конкурировало шесть издательских фирм, выпускавших параллельные издания сочинений Горького, — явление необычайное и для западного книжного рынка того времени. Как ни велика, однако, была популярность его в годы 1901—1902, это было только предвестием того громадного успеха, который имела пьеса «На дне», поставленная сперва в Берлине, а затем в короткое время обошедшая сцены всех европейских стран.

Бессильная ярость реакционеров при виде растущей популярности Горького и невозможность открытого преследования привели их к попытке его физического уничтожения. В декабре 1903 года, в бытность Горького в Нижнем, подосланный убийца подстерег его вечером на «Откосе», спросил: «Вы Горький?» и, получив ответ, ударил его ножом в левую сторону груди. Нож прорезал пальто, тужурку и, разбив каповый портсигар, остановился в нем, не коснувшись тела. Этот портсигар, разбитый ножом агента полиции, хранится в Музее М. Горького как памятник подлых деяний людей, испуганных приближением революции.

13

Слухи о готовящемся шествии рабочих к Зимнему дворцу волновали Петербург еще с 6 января 1905 года. 8-го вечером, когда не оставалось больше сомнений в том, что военное командование готовит кровопролитие на улицах Петер-

бурга, делегация общественных деятелей, в которую вошел и Горький, отправилась к министрам с попыткой убедить их в мирном характере рабочего шествия и в необходимости убрать с улиц войска. Но массовое убийство безоружных рабочих было предрешено и совершилось в знаменитое с тех пор Кровавое воскресенье 9 января.

Потрясенный сценами избиения, Горький в тот же день, вернувшись домой, написал обращение к обществу от имени участников делегации. Обращение подчеркивало то обстоятельство, что министр внутренних дел был предупрежден делегацией о мирных намерениях рабочих, что это подтвердилось самими событиями, и, следовательно, происшедшее нельзя назвать иначе, как «предумышленным и бессмысленным убийством множества русских граждан».

«А так как Николай II был осведомлен о характере рабочего движения и о миролюбивых намерениях его бывших подданных, безвинно убитых солдатами, и, зная это, допустил избиение их, — мы и его обвиняем в убийстве мирных людей, ничем не вызвавших такой меры против них.

Вместе с тем мы заявляем, что далее подобный порядок не должен быть терпим, и приглашаем всех граждан России к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием».

Это обращение Горький передал членам делегации для одобрения и подписи, но на следующий день у одного из них во время обыска было захвачено. Охранники легко определили автора по почерку. Через день Горький был арестован в Риге и доставлен в Петербург, в Петропавловскую крепость.

И вот — в четвертый раз, после 1889, 1898 и 1901 годов, руководители охранки получили все ту же неудовлетворительную и досадную формулу: «При самом тщательном обыске всей квартиры ничего явно преступного в ней не обнаружено». Правда, в распоряжении следствия был такой серьезный документ, как проект воззвания, от авторства которого Горький и не отказывался. Но использовать факт депутации к министрам, представив эту депутацию в виде «революционного комитета», не удалось, — слишком большая получалась натяжка.

Старому знакомцу Горького по тифлисскому «дознанию», жандармскому ротмистру, теперь уже, впрочем, подполковнику, Конисскому, вновь довелось вести его дело.

А. М. писал мне, что, допрашивая его, Конисский сказал:

«Однажды я из-за вас уже потерпел, да вот и теперь то же, кажется, будет: арестом вашим Европа обеспокоена».

Шумная реакция европейского общественного мнения на арест Горького была, вероятно, неожиданностью не для одного Коннсского.

Чуждое народу царское правительство не могло понять всего значения Горького. Появление и слава Горького означили целую эпоху в русской литературе и русской культуре по тому новому чувству родины, по тому страстному призыву к борьбе за ее счастье, которыми были проникнуты его книги.

Недаром именно это яркое впечатление осталось в памяти целого поколения молодой России, зачитывавшейся книгами Горького, и поэт Александр Блок, тогда еще только вступавший в литературу, писал о Горьком:

«...Если есть это великое, необозримое, тоскливое, обетованное, что мы привыкли объединять под именем Р у с и, — то выразителем его приходится считать в громадной степени — Горького».

В первых же книгах Горького эта новая, своеобразная Русь выражена была колоритными, яркими фигурами:

Вот бродяга Челкаш, темпераментный, кипучий, человек широкой души; его темная, пропащая жизнь не погасила в нем ни мощной ярости его презрения, ни высоких порывов благородства. Вот плотовщик Силан, могучий, страстный, порывистый, жадный до жизни, с нетронутыми богатырскими силами. Вот пекарь Коновалов, артист в работе, человек нежнейшей души, влюбленный в землю, готовый всю ее «ошагать», насмотреться на невиданные красоты. Вот рыбачка Мальва, овеянная морскими просторами, с манящими зелеными глазами. Вот Фома Гордеев, которому жизнь не дала воли, но натура волжанина рвет все путы, бросая его на опасные, трагические пути. И во всех произведениях Горького русская песня словно раздвигает рамки рассказа, подымает его на высокий лирический тон, и русские просторы живут в них широкой манящей далью.

И так велика была сила любви автора к своей родине, так действенно страстное желание ей счастья, так высок был патриотический подъем его книг, что они в течение короткого времени не только были отмечены как новое явление в мировой литературе, но и создали необычайную еще в истории по стремительности мировую славу новому русскому писателю.

Поэтому, когда в 1905 году царское правительство арестовало Горького, заключило в Петропавловскую крепость и

готовило расправу над ним, на защиту писателя, к удивлению, негодованию и испугу правительства Николая II, встало общественное мнение всех стран Европы. Реакция на арест Горького приняла такие формы, что было трудно игнорировать ее.

Ученые, писатели, депутаты составляли адреса, покрываемые многочисленными подписями, общественность разных стран организовала разных форм выступления в защиту Горького с требованием его освобождения.

Во всех общественных выступлениях, в многочисленных газетных статьях подчеркивалось, что Горький принадлежит не только России, но всему миру. «Его творения, — говорилось в одном из адресов, — распространили по всему миру уважение к духу русской народной поэзии, и все его сочинения дышат страстной любовью к родине. Голоса наиболее выдающихся людей различных стран сливаются в одном крике: «Свободу Максиму Горькому! Верните его труду, родине, целому миру!»

В России манифестации и театрах на представлении пьес Горького стали повсеместным явлением.

14 февраля, после месяца заключения, Коннсский отдал распоряжение об освобождении Горького до суда под залог в 10.000 рублей и с подпиской о невыезде из Петербурга. Однако начальник охранного отделения потребовал нового ареста, заявив, что ни одного часа не оставит Горького свободным на улицах столицы. Горький под наблюдением охранников выехал в Ригу.

В ожидании судебного процесса Горький писал из Риги одному из своих друзей:

«Об уклонении от суда не может быть и речи, напротив — необходимо, чтобы меня судили. Если же они решат кончить эту неумную историю административным путем, — я немедленно возобновляю ее, но уже в более широком масштабе, более ярком свете и — добьюсь суда для себя — позора для семейства гг. Романовых и ниже с ними.

Если же будет суд и я буду осужден, то это даст мне превосходное основание объяснить Европе, почему именно я «революционер» против «существующего порядка» избиения мирных и безоружных жителей России, включая и детей».

Правительство само понимало большое неудобство гласного суда над таким обвиняемым. Было решено провести процесс при закрытых дверях, а затем дело затянули и прекратили его уже во время бурных событий осени 1905 года, подведя под амнистию.

Во время октябрьских «свобод» при содействии Горького была организована большая газета «Новая жизнь», которая стала первым большевистским легальным органом. Первый номер газеты вышел 27 октября, а с шестого номера она непосредственно редактировалась приехавшим из-за границы В. И. Лениным.

В этой газете Горький напечатал цикл публицистических статей — «Заметки о мещанстве»; разоблачая мещанство как особый душевный строй, взращиваемый собственническим, буржуазным обществом, он вскрывал «мещанские» тенденции и в публицистике Достоевского и Толстого.

«Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне:

— Как? Толстой? Достоевский?

Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему, они обещают народу за труд и муки вознаграждение на небесах и, любуясь его невыносимо тяжкой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тли. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая — косвенно, — проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания».

Либеральные «идолопоклонники» сперва «закричали» на Горького, а потом, после его новых выступлений, объявили, что «Горький кончился». Это была неправда, — для них он не существовал и ранее.

В эти же бурные дни кануна декабрьского восстания состоялась первая встреча Горького с Лениным в Петербурге 27 ноября 1905 года в связи с делами по газете «Новая жизнь».

Присутствовавший при встрече В. А. Десницкий вспоминает:

«Горький много рассказывал о московских событиях и настроениях, о похоронах Баумана, о черной сотне, о вооружении рабочих и студентов, о настроении интеллигенции, картинно описывал уличные сцены. Владимир Ильич слушал с неослабным вниманием. Его особенно, как и всегда, интересовали те мелочи, конкретные детали, факты, слова, которые давали свежее, непосредственное впечатление действительности. Здесь впервые узнал он Горького как рассказчи-

ка и с первого же раза оценил громадное значение его наблюдений и заключений о людях и событиях.

— Учиться у него нужно, как смотреть и слушать! — нередко говорил о Горьком Владимир Ильич...»

«Новая жизнь» выходила в течение пяти недель в боевой обстановке. Полиция отбирала ее у газетчиков и даже у купивших ее, запрещала продажу газеты в киосках и магазинах. Почта по приказу охранки задерживала рассылку подписчикам, истребляя номера, не принимая денежных переводов в контору газеты. А 2 декабря она была запрещена совсем.

Но еще до запрещения «Новой жизни» удалось организовать для Москвы газету «Борьба», сыгравшую значительную роль в развитии декабрьского восстания. Во время восстания на квартире Горького хранилось оружие, организовывалась финансовая помощь восстанию, устраивались конспиративные встречи.

Из протоколов допроса Н. Шмидта, владельца мебельной фабрики в Москве, перешедшего на сторону революции и замученного впоследствии охранниками, департаменту полиции стало известным, что «Горький способствовал увеличению средств для вооруженного восстания, выступая в качестве лектора на платных вечерах, часть сборов с коих отчислялась на заведомо революционные цели».

Стало известным, что «Шмидт по указанию Михайлова передал 20.000 рублей Горькому на покупку оружия, от которого Михайлов брал для уплаты за купленное оружие. Кроме того, Шмидт был на чтении Горьким его драмы «Дети солнца», где с каждого присутствующего брали 25 рублей на оружие».

При наступившей реакции Горький был бы, несомненно, привлечен к новому «делу». Но в это время в партии возникла мысль поручить Горькому поездку в Америку для сбора путем агитации денег в кассу большевиков.

В глазах всего мира Горький стал выразителем свободолюбивого русского народа, представителем борющейся за свое освобождение России, и партия большевиков поручает ему, великому писателю, великому патриоту и революционеру, эту поездку с призывом к международной демократии поддержать русскую революцию.

Он выехал за границу через Финляндию в январе 1906 года.

Для царского правительства это было время страшного финансового кризиса после проигранной войны с Японией. Вопрос — удержит ли правительство власть и сможет ли с новыми силами обрушиться на революционное движение — в значительной мере был связан с вопросом, поможет ли Европа царскому правительству. Поэтому в ответ на приветствия иностранцев Горький публикует в Европе воззвание: «Не давайте денег русскому правительству!»

Департамент полиции предпринял тогда решительную борьбу с агитацией Горького через царское посольство в Америке.

Еще до приезда Горького чиновники иммиграционного управления по настоянию посольства изучали выступления Горького, стараясь подвести его под американский закон, воспрещавший «анархистам» въезд на территорию Соединенных Штатов. Это им не удалось. Тогда царская агентура в Америке усердно и всевозможными средствами занялась компрометацией Горького в буржуазных кругах республики. В результате удалось устроить такой мелкий скандал: владельцы нью-йоркских отелей отказались предоставить Горькому и М. Ф. Андреевой комнаты, потому что спутница Горького не была его «законной» женой. Писатель нашел себе пристанище в одном из частных домов.

Сбор денег на русскую революцию не удался в предполагаемом масштабе, — было собрано всего около 10.000 долларов. Но за это время Горький написал «Мать». Написал он также пьесу «Враги», очерки «В Америке» и серию сатирических памфлетов «Мои интервью».

Среди последних замечателен памфлет на германский империализм, написанный в форме «беседы» автора с кайзером Вильгельмом II, под названием «Король, который высоко держит свое знамя».

Хотя в этом сатирическом «интервью» Горький вскрывает сущность германского империализма в его ранней стадии, того периода, когда он еще шел вверх по кривой, насыщаясь производительными силами Германии, но поистине пророчески он в лице своего «собеседника»-маньяка как бы изобразил и слугу новейшего германского разбойничьего империализма, слугу хищной немецкой плутократии, — за кайзером Вильгельмом для читателя наших дней стоит «фюрер» фашистской Германии — Гитлер.

Вот изображение этого, если можно так сказать, наследственного кретинизма:

«Его величество вошло крепкими ногами существа, уверенного, что дворец его построен прочно. Величию осанки его величества очень способствует то, что оно не сгибает ног и, держа руки по швам, не двигает ни одним членом. Глаза его тоже неподвижны, какими и должны быть глаза существа прямолинейного и привыкшего смотреть в будущее».

Маньяк марширует:

«Его левая нога поднялась кверху, и вслед за нею правая рука взлетела на уровень плеча.

— Смир-рно! — скомандовал король. Нога и рука моментально заняли свои места.

— Это называется свободной дисциплиной членов. Она действует независимо от сознания. Взмах ноги уже сам поднимает руку — раз! Мозг здесь не играет никакой роли. Это почти чудесно. Вот почему лучший солдат тот, у которого мозг совершенно не действует. Солдата приводит в движение не сознание, а звук команды... Изумительно величественны эти действия без мысли!.. Разве это не прекрасно? Вы видите, — для счастья людей не нужно мозга: за них думает король».

Не поразительно ли знакомая нам картина?

Сколько пленных гитлеровцев, какая тьма немцев, людей-автоматов тупо отвечали на допросах об их действиях и побуждениях: «Мы не должны думать. За нас думает фюрер!»

Так за картинами вильгельмовской Германии уже рисуется наиболее смрадное, тупое и позорное явление, когда-либо существовавшее в мире, — немецкий фашизм.

В другом памфлете, написанном несколько позднее, в «Письме монархисту», Горький, разоблачая стремление империалистической Германии поработить Россию, навести в ней «хороший порядок», разоблачает и внутреннюю агентуру немцев в России, палачей русского народа, русской свободы.

Почему, спрашивает Горький о немецких генералах русской службы, почему «Гершельманы, Штакельберги, Ренненкампфы и другие, им же несть числа, так плохо дрались с японцами и так хорошо, так жестоко и усердно били русский народ?»

«Почему остзейские немцы, бароны, в большинстве своем играют в русской истории определенную роль слуг по найму, обязанность которых держать русского человека за горло?»

Памфлет Горького бил одновременно и по Николаю II, предававшему интересы России, и по хищным поползновениям вильгельмовской Германии.

Во время агитационной поездки Горького по Америке пришло сообщение о том, что царское правительство получило, наконец, согласие на заем во Франции. Горький ответил на это памфлетом «Прекрасная Франция».

«Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождем мира, — писал Горький в этом памфлете, — понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния?»

Памфлет вызвал целую бурю протестов во французских буржуазных газетах. Профессора, журналисты, государственные деятели наперерыв спешили выразить негодование и возмущение революционером, столь непочтительно отозвавшимся об их стране. Ведь французы, писали они, восхищались сочинениями Горького, хлопотали о том, чтобы его освободили из тюрьмы, любили его, а Горький, вот, ответил такой неблагодарностью. Один журналист даже вспомнил, что он уплатил 50 франков за кресло, чтобы посмотреть пьесу «На дне».

На все эти жалобы Горький ответил статьей «Гг. журналистам Франции»:

«Я познакомился с гейзерами красноречия, которые вызвала из ваших чернильниц моя статья о займе, данном правительством и финансистами Франции Николаю Романову на устройство в России кровавых экзекуций, военно-полевых судов и всевозможных зверств. я познакомился с вашими возражениями мне и — не поздравляю вас.

Вы говорите: «Мы встали на защиту Горького, когда он сидел в тюрьме, а он...»

— Я был добр к тебе — ты за это должен заплатить мне благодарностью! — вот что звучит в ваших словах. Но я не чувствую благодарности и доброту вашу считаю недоразумением...

С точки зрения здравого смысла вам, господа, следует желать, чтобы я в тюрьме сидел возможно чаще и дольше, а когда вы протестуете против этого, — меня такое ваше поведение, — извините, — смешит.

Ибо мы — враги и — непримиримые, я уверен.

Затем, вы говорите еще: «Мы любим Горького, а он...»

Господа! Искренно говорю вам: честному писателю и социалисту глубоко оскорбительна любовь буржуа!

Надеюсь, что эти строки вполне точно и навсегда определят наши взаимные отношения».

А в другом ответе Горький предсказывает:

«Когда власть будет в руках народа, ему напомнят о банкирах Франции, помогавших семейству Романовых бороться

против свободы, права и правды за свою власть, варварскую, антикультурную роль которой ясно понимают все честные сердца и глаза Европы.

Я уверен, что русский народ не возвратит Франции займов, уже оплаченных им своей кровью.

Не возвратит!»

17

После таких выступлений обратный путь в Россию был, конечно, закрыт, и Горький, поселившись в Италии, на острове Капри, становится политическим эмигрантом.

Нарастание реакции все более сужало возможности общения Горького с читателем. Ряд рассказов вовсе не мог быть напечатан в России («9-е января», «Патрулы», «Из повести», «Русский царь»). Пьеса «Враги», в которой автор лицом к лицу столкнул классовых врагов — рабочих и капиталистов, — была напечатана, но к представлению безусловно запрещена. «Сцены эти являются сплошной проповедью против имущих классов», — докладывал цензор начальству, мотивируя запрещение пьесы. Повесть «Жизнь ненужного человека», изображавшая деятельность органов охранки, была допущена к печати только на одну треть. По одному началу повести читатели не могли составить себе даже представления о вещи в целом.

Сильнейшим образом потерпел и роман «Мать».

Эта широкая картина революционного рабочего движения в России вызвана впечатлениями и наблюдениями Горького в Нижнем и Сормове начала 900-х годов

Прообразом Павла Власова послужил рабочий П. А. Заломов, один из руководителей Сормовской партийной организации, а прообразом Ниловны — его мать, работавшая в организации, развозившая литературу и исполнявшая ряд других ответственных и сопряженных с опасностями поручений. Демонстрация, описанная в романе, имеет источником свои знаменитую первомайскую демонстрацию в Сормове 1902 года, события тех дней, когда Горький, возвращаясь из Крыма для следования в арзамасскую ссылку, жил на перепутье в Нижнем.

Но исторические лица и события послужили лишь канвой для создания художественного произведения, имевшего мировое пропагандистское значение и воплотившего в образах русских революционеров такую пламенную страстность, такую нравственную высоту, такие подвиги самоотвержения,

такую преданность свободе и родине, что с этого времени знамя русского рабочего, его борьбы и его славы завоевало высокое признание.

Ленин, говоря в 1909 году о том, что «Горький... крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим классом России и всего мира», несомненно в первую очередь имел в виду вышедший незадолго до этого роман «Мать».

А в статье «О национальной гордости великороссов» Ленин писал:

«Мы гордимся тем... что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс... Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация... доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм...» (том XVIII, стр. 81).

Эта гордость творческими силами русского народа воплощена и в художественных образах романа Горького. «Россия будет самой яркой демократией земли!» — предсказывает один из персонажей «Матери».

Все это с точки зрения царского правительства было, конечно, глубоко запретным.

Уже по выходе первых трех сборников «Знания», содержавших только первую часть «Матери», Петербургский комитет по делам печати, наложив на сборники арест, обратился 3 августа 1907 года к прокурору судебной палаты с просьбой возбудить судебное преследование против Горького по обвинению его «в распространении сочинения, возбуждающего к совершению тяжких преступных деяний, вражду со стороны рабочих к имущим классам населения, подстрекающего к бунту и совершению бунтовщических деяний».

В связи с этим печаталась в «Ведомостях СПБ. Градоначальства» курьезная публикация: «По объявлению СПБ. Окружного суда отыскивается нижегородский цеховой малярного цеха мастер Алексей Максимович Пешков (Максим Горький), обвиняемый по 1 и 4 пп. 129, 73 и 132 ст.ст. Угол. уложения». Публикация была комична тем, что пребывание «нижегородского цехового» в Италии было общеизвестно.

На судьбе романа возбуждение этого дела отразилось тем, что последующие сборники «Знания» были сильнейшим образом урезаны, исключены были целые сцены: пропаганда Рыбина в деревне и истязание его полицией, суд над Власовым и его товарищами и т. д.

Но и в таком, урезанном, виде отдельным изданием

«Мать» появиться не могла, — впервые роман издан в России только после свержения самодержавия, в 1917 году.

В. И. Ленин прочел роман еще до появления его в печати. Горький так вспоминает свою встречу с ним на Лондонском съезде партии и разговор по поводу «Матери», когда Ленин, «ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал ее еще в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова».

«Я сказал, что торопился написать книгу, но не успел объяснить почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. «Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько исковеркала книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом».

Уже после публицистических выступлений 1906 года отношение к Горькому в буржуазных кругах Запада резко меняется, появление «Матери» не приостановило, конечно, этот процесс. Зато ее появление создало Горькому устойчивую и обширную рабочую аудиторию. По словам А. Луначарского, «рабочая пресса, главным образом немецкая, да отчасти французская и итальянская, подхватила эту повесть и разнесла ее в виде приложений к газетам или фельетонов буквально в миллионах экземпляров. Для европейского пролетариата «Мать» сделалась настольной книгой».

О русском рабочем читателе и говорить не приходится. Редкий экземпляр зарубежного издания, проскользнувший через границу, или вырезки из сборников «Знания» зачитывались до износа, переходили из рук в руки как ценнейшая вещь. Роман стал огромной, исторической важности документом революционной пропаганды.

Живя за границей, Горький работает, организационно связанный с партией. Весной 1907 года в Лондоне состоялся V съезд партии, на котором Горький присутствует в качестве делегата с совещательным голосом. Встречи с В. И. Лениным на съезде послужили началом тесного сближения их.

«Не помню, — пишет Н. К. Крупская, — встречался ли Ильич с Горьким до лондонского съезда, но начиная с лондонского съезда, на котором присутствовал Горький, у Ильича всегда светлело лицо и мягчели глаза, когда он говорил о Горьком». [1]

Это живое свидетельство такого близкого Ленину человека, как Н. К. Крупская, имеет для нас важнейшее значение, внутренним светом освещая нам отношения двух великих людей.

До конца года Ленин руководит партийной работой в России, находясь вблизи Петербурга, в Финляндии, а по возвращении его за границу, в новой эмиграции, между ним и Горьким завязывается переписка.

Тогда же возникает мысль о постоянном сотрудничестве Горького в органе большевиков «Пролетарий».

2 февраля 1908 года Ленин пишет А. М. из Женевы:

«Все налажено, на днях выпускаем анонс. В сотрудники ставим Вас. Черкните пару слов, могли бы Вы дать что-либо для первых номеров (в духе ли заметок о мещанстве из «Новой жизни» или отрывки из повести, которую пишете, и т. п.)» (том XXVIII, стр. 518).

А Луначарскому, жившему тогда на Капри, Ленин пишет замечательное письмо, которое показывает, как высоко ценил он работу Горького для партии и в то же время как тщательно, с какою великою ленинской заботою оберегал он его писательский труд:

«Ваш проект беллетристического отдела в «Пролетарии» и поручение его А. М-чу превосходен и меня чрезвычайно радует. Я именно мечтал о том, чтобы литературно-критический отдел сделать в «Пролетарии» постоянным и поручить его А. М-чу. Но я боялся, страшно боялся прямо предлагать это, ибо я не знаю характер работы (и работосклонности) А. М-ча. Если человек занят серьезной большой работой, если этой работе повредит отрывание на мелочи, на газету, на публицистику, — тогда было бы глупостью и преступлением мешать ему и отрывать его! Это я очень хорошо понимаю и чувствую.

Вам на месте виднее, дорогой Ан. Вас. Если Вы считаете, что мы не повредим работе Ал. М-ча, ежели запряжем его в регулярную партийную работу (а партийная работа от этого массу выиграет!), то постарайтесь это наладить» (там же, стр. 521).

---

[1] «Правда», 1928 г., № 94.

Сотрудничество Горького в «Пролетарии», однако, не осуществилось, главным образом вследствие возникших философских разногласий. К этому времени появилось и оформлялось философское течение, возглавленное А. Богдановым, членом редакции «Пролетария», А. Луначарским и некоторыми другими членами партии. Оно было изложено в ряде работ, авторы коих переходили на почву философского идеализма.

Горький прислал в редакцию «Пролетария» статью, затрагивавшую именно эту тему. Ленин, будучи в корне несогласен с новым философским течением, настаивал на том, чтобы «Пролетарий», как орган единой большевистской фракции, временно сохранил по отношению к этим вопросам нейтральность и отделил философские споры от партийной работы. На этом основании он высказался против помещения в таком виде статьи Горького в «Пролетарии».

«Мы свое фракционное дело, — писал он Горькому, — должны вести по прежнему дружно: в той политике, которую мы вели и провели за время революции, никто из нас не раскаивался. Значит, наш долг отстаивать и отстоять ее перед партией. Это сделать мы можем только все вместе и должны это сделать в «Пролетарии» и во всей партийной работе» (там же, стр. 541).

Сохранить единство, однако, и в практической партийной работе не оказалось возможным; отход богдановцев от большевизма отразился и на вопросах тактики. Единомышленники Богданова выдвинули требование отзыва социал-демократических депутатов из Государственной думы и перехода исключительно на нелегальную деятельность, тогда как Ленин строил тактику большевизма на целесообразном сочетании легальной и нелегальной работы. Группа Богданова получила название «отзовистов», философские же идеи, пропагандируемые ею, — название «богостроительства».

В то же время Богданов, Луначарский и др. по предложению и при ближайшем содействии и помощи Горького приступили к организации на Капри «школы», в которой посланные из России по выбору местных партийных организаций рабочие могли бы получать подготовку для квалифицированной партийной работы. Идея такого «партийного университета» встретила горячий отклик у приехавшего из России рабочего Вилонова («Михаила»).

«Вилонов, — писал Горький, — был рабочий, большевик; несколько раз сидел в тюрьме; после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избили его и, бросив в карцер, облили на-

ного, израненного, круто посоленной водой. Восемь дней он купался в рассоле, валяясь на грязном, холодном асфальте; этим и было разрушено его могучее здоровье».

Неутомимый организатор, Вилонов, едва оправившись несколько на Капри от своей болезни, принялся за организацию школы и, рискуя арестом и смертью, так как состояние его здоровья было все еще плохо, сам отправился в Россию за рабочими. К лету 1909 года он завербовал до 20 слушателей, выбранных партийными организациями в разных концах России, и тогда же начались занятия.

Но так как лекторами школы были в большинстве или отзовисты, или сочувствующие им, то она, естественно, становилась пропагандистским центром новой фракции. Поэтому среди других резолюций расширенной редакции «Пролетария» Лениным была предложена и резолюция «О партийной школе, устраиваемой за границей в NN». Резолюция подчеркивала, что «большевистская фракция никакой ответственности за школу нести не может».

Когда стала известна эта резолюция, в школе возник раскол. Среди слушателей образовалась группа ленинцев, которая после отказа Ленина приехать на Капри прочесть лекции сама отправилась к нему в Париж, куда он к тому времени переехал из Женевы.

С этой группой, по соглашению с Горьким, поехал к Ленину и Вилонов.

Горький, которому были чужды узко фракционные цели сторонников Богданова и который смотрел на школу прежде всего как на общее дело большевиков, тяжело переживал возникшие разногласия. Ленин, после свидания с приехавшим в Париж Вилоновым, 16 ноября 1909 года, под непосредственным впечатлением рассказов последнего, в тот же день пишет Горькому сердечное и ободряющее письмо:

«Дорогой Алексей Максимович! Я был все время в полнейшем убеждении, что Вы и тов. Михаил — самые твердые фракционеры новой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить по-дружески. Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал с ним по душам и о делах и о Вас, и увидел, что ошибался жестоко... Я рассматривал школу **только** как центр новой фракции. Оказалось, это неверно — не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того школа

черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков. Вышло так, что кроме противоречий старой и новой фракции, на Капри развернулось противоречие между частью социал-демократической интеллигенции и рабочими-русаками, которые вывезут социал-демократию на верный путь в о ч т о б ы т о н и с т а л о и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным склокам и сварам, «историям» и пр. и т. п. . .

Из слов Михаила я вижу, дорогой А. М., что Вам теперь очень тяжело. Рабочее движение и социал-демократию пришлось Вам сразу увидать с такой стороны, в таких проявлениях, в таких формах, которые не раз уже в истории России и Западной Европы приводили интеллигентских маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не случится, и после разговора с Михаилом мне хочется крепко пожать Вашу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволительно для Вас давать себя во власть тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабочего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу и расколы, и свару, и драку кружков — это не потому, что рабочее движение было внутренне слабо или социал-демократия внутренне ошибочна, а потому, что слишком разнородны и разнокалиберны те элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе свою партию. Выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам» (том XIV, стр. 188—189).

Между тем откол Богданова и его группы от большевистской фракции породил в буржуазной печати много сплетен, в частности об отношении большевиков к Горькому и об исключении его из партии. «Пролетарий» ответил на это 11 декабря 1909 года специальной заметкой «Басня буржуазной печати об исключении Горького», написанной Лениным и кончавшейся указанием на цель сплетнической кампании:

«Буржуазным партиям х о ч е т с я, чтобы Горький вышел из социал-демократической партии. Буржуазные газеты из кожи лезут, чтобы разжечь разногласия внутри социал-демократической партии и представить их в уродливом виде.

Напрасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как презрением» (там же, стр. 211).

13

«Россия будет самой яркой демократией земли!» — так была выражена вера Горького в будущее России, в будущее русского народа. И в годы эмиграции, в годы тяжелой столыпинской реакции он пропагандировал эту веру свою и в художественных произведениях, и в публицистике, и в письмах, во всей своей работе. Всюду и всеми родами своего оружия он боролся за эту демократическую Россию, за помощь ей на путях освободительной борьбы.

«Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы!» — писал Горький.

Странник Иона в повести «Исповедь» так выражает задушевнейшие мысли Горького:

«Что ты знаешь о народе?.. Знаешь ты, что такое Русь?.. Знаешь, чьею волей и духом все государства строились? На чьих костях храмы стоят? Чьим языком говорят все мудрецы? Все, что есть на земле и в памяти твоей, все народом создано...»

«В народе — все начала, в его силе все возможности...» — говорит в повести «Солдаты» бесстрашная пропагандистка Вера. А пропагандист Федор Дядин в одноименном рассказе на вопрос, не старовер ли он, отвечает:

«Весь народ — старовер! Издавна, неискоренимо верует он в силу правды — о рабочем народе говорю, который все начал на земле и всех породил... Что исходит из народа, из его великих трудов и мучений — это уж непобедимо! Навсегда! Это — дойдет до конца...»

В каждом произведении Горького в той или иной форме была выражена эта горячая вера в могучие, хотя и скрытые до времени силы русского народа.

В повести «Городок Окуров» уездный искатель правды Тиунов говорит самоучке-поэту Девушкину:

«Сколько я видел людей, сколько горя постиг человеческого!.. И скажу тебе от сердца слово — хорош на земле русский народ! Дикий он, конечно, замордованный и весьма

несчастен, а — хорош, добротный, даровитый народ! Вот — ты погляди на него пристально и будешь любить! Ну тогда, брат, запоешь!

Помолчав, Тунов убедительно прибавил:

— Хорош народ! И — аминь».

После замечательных повестей «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина» Горький пишет целые циклы новых рассказов, которым дал впоследствии общее название «По Руси».

В этих рассказах он снова, как и в первых книгах, поднимает тему своих странствий, и в этот раз с еще большею творческою силой.

Наряду с глубоким проникновением в психику русского человека и тревожными поисками того, что задерживает раскрытие всех богатых творческих возможностей его, Горький широко рисует русскую природу, воодушевляющую и вдохновляющую.

В одном из рассказов этого цикла («Едут...») изображена картина возвращения рыболовов с Каспия на родину, на верхнюю Волгу.

На палубе шхуны, прислонясь спиной к мачте, сидит парень-богатырь, возле него — молодая баба-резальщица, вокруг — здоровый, литой народ, обожженный жаркими ветрами, просолевший в горькой воде моря.

Изображение рыболовов, этой картины русской спокойной силы, русской плодоносной земли так ярко и так полно могучей живописи, что может быть причислено к лучшим созданиям мировой литературы.

Великий реалист, Горький никогда не отступал перед изображением правды жизни, как бы страшна она ни была. Но велик был и его могучий романтизм, его уверенность в силах русского народа, преодолевающих все. И вера его в великие силы своего народа питалась не книжными источниками, не абстрактными, раз навсегда данными мыслями, но повседневными наблюдениями. А глаза у него были чудесной зоркости, и опыт его жизни по своей вместимости был изумителен.

В одном из писем каприйского периода он писал:

«Мы с Вами пребываем в стране, где сотня миллионов черепов, полных доброго мозга, еще не научилась пользоваться силой опыта, еще чуть тлеет этот хороший мозг. И — Вы представьте — вспыхнет, загорится — воссияет? Ведь это же необходимо!»

1909 год после революции 1905 года был годом наибольшего упадка рабочего движения. Но уже в ноябре следующего года Ленин в связи с демонстрациями студентов и рабочих пишет статью «Не начало ли поворота?», указывая на первые признаки «демократического подъема». «Пролетариат начал,— писал он в следующей статье «Начало демонстраций». — Демократическая молодежь продолжает. Русский народ просыпается к новой борьбе, идет навстречу новой революции» (том XIV, стр. 393).

Стояла на очереди организация большого партийного журнала; идею такого журнала настойчиво поддерживал Горький. Еще летом 1910 года, когда Ленин провел несколько дней на Капри, речь шла между ними о возможностях осуществления этой идеи.

14 ноября Ленин запрашивает в письме:

«Хорошо ли работается? Выходит ли что с журналом, о котором говорили летом?» (том XXVIII, стр. 572).

Но для организации большевистского толстого журнала нехватало средств и издательских возможностей, а всякий блок с меньшевистствующими и так называемыми «радикальными», а по существу буржуазно-либеральными элементами Ленин решительно отклонял.

Зато в это же время большевикам удалось поставить еженедельную газету «Звезда», первую легальную газету большевиков после 1907 года. В течение своего непродолжительного существования она много раз подвергалась конфискациям и штрафам, выходила поэтому с перерывами.

15 сентября 1911 года В. И. Ленин пишет Горькому:

«Пока мы смогли только раздобыть последние деньжонки на возобновление З в е з д ы. Рассчитываю очень на Вашу подмогу: пришлите статейку. Подмога особенно важна в начале, ибо налаживать прерванное издание будет нелегко» (Лен. сб., III, стр. 521).

Горький поместил в «Звезде» ряд «сказок» из цикла «Сказки об Италии», и Ленин писал ему в другом письме:

«Очень и очень рад, что Вы помогаете «Звезде». Трудно нам с ней чертовски — и внутренние и внешние и финансовые трудности необъятны — а все же пока тянем» (там же, стр. 523).

Но еще более был доволен В. И. Ленин, когда Горький предложил в большевистский журнал «Просвещение», который до тех пор составлялся только из общественно-полити-

ческих и экономических статей, ввести отдел беллетристики и взял на себя редактирование этого отдела.

«Чрезвычайно меня и всех нас здесь обрадовало, что Вы беретесь за «Просвещение». А я — покаюсь — подумал было: вот как только напишу про маленький журнальчик или журнальчишко наш, так у А. М. охота и пропадет. Каюсь, каюсь за такие мысли.

Вот действительно превосходно будет, ежели мы помаленьку присоседим беллетристов да двинем «Просвещение»! Превосходно! Читатель новый, пролетарский, — сделаем журнал дешевым, — беллетристику станете Вы пускать только демократическую без нытья, без ренегатства» (том XVI, стр. 327).

В течение всего 1913 года, вплоть до возвращения в Россию, Горький деятельно руководит беллетристическим отделом журнала; энергичным участием своим поддерживает и основанный в 1912 году орган партии большевиков, газету «Правда», поместив в ней ряд своих произведений.

Как ценил В. И. Ленин значение Горького — агитатора в рабочих массах, показывает его письмо к Горькому 1912 года:

«Не напишете ли майский листок? Или листовочку в таком же майском духе? Коротенькую «духоподъемную», а?.. Хорошо бы иметь революционную прокламацию в типе Сказок «Звезды» (том XXIX, стр. 19).

В 1913 году Горький получил возможность вернуться в Россию в связи с объявленной тогда амнистией по случаю «трехсотлетия дома Романовых». Из политических амнистия коснулась только лиц, осужденных или подлежащих суду за выступления в печати.

По прочтении царского «манифеста» В. И. Ленин писал Горькому:

«Литераторская амнистия, кажись, полная. Надо Вам попробовать вернуться — узнав, конечно, сначала, не подложат ли Вам свинью за «школу» и т. п. Вероятно, не смогут привлечь за это».

«А революционному писателю возможность пошляться по России (по новой России) означает возможность во сто раз больше ударить потом Романовых и К°...» (там же, стр. 33).

Но отъезд Горького почти на год задержало обострение туберкулеза, которым Горький страдал с 1896 года и который в этот период, к осени 1913 года, принял крайне опасную форму.

«То что Вы пишете о своей болезни, — писал ему Ленин в сентябре 1913 года, — меня страшно тревожит».

«А Вы после Капри зимой — в Россию??? Я страшно боюсь, что это повредит здоровью и подорвет Вашу работоспособность. Есть ли в этой Италии первоклассные врачи??»

И в другом письме опять та же огромная ленинская забота:

«Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо только у первоклассных знаменитостей» (там же, стр. 40, 44).

Опасения Ленина оказались напрасными. Лечивший Горького врач удачно применил новый, открытый им, метод лечения туберкулеза, и процесс удалось приостановить.

В конце декабря Горький покинул Капри и приехал на родину.

В делах департамента полиции читаем:

«Начальник отделения по охране общественной безопасности и порядка в С.-Петербурге донес, что 31 минувшего декабря подведомственными ему филерами взят в наблюдение прибывший с поездом, видимо, со станции Вержболово, известный Вам эмигрант, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков».

Тот скандальный для охранки факт, что Горький был узнан уже в Петербурге случайными филерами, заставил департамент полиции в раздражении запрашивать пограничных жандармов:

«Было ли вами сообщено, когда и кому о возвращении в пределы империи такого выдающегося революционного деятеля, каким является Алексей Пешков?»

Приезд Горького вызвал многочисленные приветствия и поздравления, в которых факт возвращения его неизменно связывался с новым ростом революционного подъема в стране.

«Вы вернулись к нам, — писали московские студенты, — накануне нашего пробуждения от долгого и мучительного сна».

В одном из приветствий от рабочих говорилось:

«Мы верим, что Ваше пребывание на родине и духовная работа увеличат наши силы и помогут нам, российским пролетариям, сбросить ненавистное иго. . .»

Все публичные чествования, однако, больной еще писатель отклонил и поселился в Финляндии под Петербургом.

Империалистическую войну Горький встретил с величай-

шим негодованием. Когда осуществилось его давнее желание и ему удалось организовать толстый журнал «Летопись», то журнал этот занял интернационалистическую позицию, резко противоречившую позиции либеральных и меньшевистских подпевал империализма.

20

Антивоенная пропаганда «Летописи», разоблачавшая захватнические цели империалистических правительств, в том числе и царского правительства, имела огромное значение. Это был единственный легальный орган, разоблачавший и весь круг отечественного шовинизма — от черносотенцев до буржуазных либералов и до тех деятелей «социалистических» партий, за которыми осталась в истории кличка «социал-шовинистов».

Но в обстановке Февральской революции журнал «Летопись» и основанная при участии Горького газета «Новая жизнь» проявили ряд колебаний от последовательного интернационализма к так называемому «революционному оборончеству».

Тактика «революционного оборончества» сводилась к тому, чтобы теперь, когда у государственной власти встала буржуазия, продолжать «оборонительную» войну, но одновременно оказывать давление на правительство, требуя скорейшего заключения демократического мира.

«Революционное оборончество» полностью противоречило позиции В. И. Ленина. Когда империалисты добились того, что ввергли мир в небывалую бойню, Ленин, еще в начале войны, указывал в одном из писем:

«Лозунг мира, по моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война» (том XVIII, стр. 56).

Этот лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну тогда же вошел в манифест ЦК большевиков, и события февраля — марта 1917 года не изменили позиции Ленина. Наоборот, они были для него только подтверждением правильности этого лозунга, были началом превращения империалистической войны в войну гражданскую.

Еще будучи в эмиграции, Ленин ответил на тезисы «революционного оборончества» очередной статьей из серии «Письма из далека» под названием «Как добиться мира?».

Он разъяснял в ней, что только пролетариат и беднейшее крестьянство, взяв в свои руки государственную власть, могут добиться «действительно демократического, действительно почетного мира», а буржуазное Временное правительство, будучи по природе своей империалистическим, никакого другого мира, кроме как империалистического, заключить не может. «Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический мир — все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью добродетели» (том XX, стр. 42).

В этой статье, полемизируя с Горьким-публицистом, Ленин возвращается к оценке его как художника. «Нет сомнения, — пишет он, — что Горький громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

О том, что Ленин продолжал внимательно следить за художественной работой Горького, есть прямые свидетельства. Так, в апреле 1916 года Н. К. Крупская пишет В. А. Карпинскому в Женеву о том, что Владимир Ильич просит прислать «если что есть нового из Горького». И знаменательно, что теперь, при вновь возникшей полемике, Ленин почти теми же словами, как и в 1909 году, утверждает значение Горького — великого пролетарского писателя.

С 1909—1910 годов в работе Горького наступает новый и высокий творческий подъем. Появляются «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина» — повести о том огромном мещанском массиве, который еще, казалось, так чудовищно прочно залегал в пространствах «уездной России» и который так хорошо, по опыту своей жизни, знал Горький. С тех пор «окуровщина» стала нарицательным именем этой тупой, косной силы, сковывавшей старую Россию. В последующих вещах (цикл рассказов «По Руси», повести «Хозяин», «Детство», «В людях») Горький переходит непосредственно на автобиографический материал и дает вещи, которые являются одними из значительнейших произведений не только русской, но и мировой литературы. Окуровщина, побеждаемая в жизни человека творческой волей и творческим трудом, — таков смысл автобиографических повестей Горького; к слову сказать, и нет у Горького произведений, в которых он изобразил бы мрачную силу темного, слепого, кротовьего быта и не показал бы, как в недрах этого темного возникает, как сквозь «плодовитый и жирный пласт всякой скотской дряни победно прорастает яркое, здоровое и творческое».

И все же, в годы поражения первой революции Горькому,

как глубоко и остро чувствующему наблюдателю, не чужды были иногда пессимистические настроения.

Он так вспоминал о своем состоянии после 1906 года:

«Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной платформы на другую. Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозленные на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадежное предприятие»... Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несется какая-то гнилая пыль».

Мы видели, как в этой обстановке предательства и ренегатства одних, испуга и растерянности других тяжело переживал Горький дробление на фракции и группы российской социал-демократии, казавшееся ему ослаблением сил партии, и как Ленин с непоколебимой уверенностью в потенциальных силах рабочего класса писал Горькому, что рабочий класс «выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам».

В разности оценок потенциальных сил русского пролетариата после убийственно-тяжких лет реакции коренился источник расхождения Горького с ленинским учением в 1917 году.

Ленин, за два месяца до февральских событий выступая перед швейцарской рабочей молодежью с докладом о первой русской революции, так говорил по поводу размеров стачечного движения в России 1905 года:

«...Это показывает, насколько великой может быть дремлющая энергия пролетариата. Это говорит о том, что в революционную эпоху, — я утверждаю это без всякого преувеличения, на основании самых точных данных русской истории, — пролетариат м о ж е т развить энергию борьбы в о с т о р а з большую, чем в обычное спокойное время. Это говорит о том, что человечество вплоть до 1905 года не знало еще, как велико, как грандиозно может быть и будет напряжение сил пролетариата, если дело идет о том, чтобы бороться за действительно великие цели, бороться действительно революционно!» (том XIX, стр. 346).

Недооценка же Горьким сил русского пролетариата в это время выражалась не только опасением изолированности его

в среде отсталой мелкой буржуазии, — «не нужно забывать, — писал он в «Летописи», в первой статье после Февральской революции, — что мы живем в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного», что зверская расправа после 1905—1906 годов «обессилила и обезглавила нас на целое десятилетие», — недооценка эта поддерживалась и опасением анархической, стихийной силы деревни, социальная первобытность которой так поражала Горького при памятных ему столкновениях с нею.

Позднее Горький вспоминал:

«Когда в 17-ом году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю, ничтожную количественно, героическую качественно рать политически-воспитанных рабочих и всю искренно-революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа».

Так расценивая расстановку политических и культурных сил страны, Горький выдвигал на первый план необходимость тесного союза передовых рабочих с научной и технической интеллигенцией и основной задачей революции считал прежде всего создание таких условий, которые бы в наибольшей степени содействовали быстрейшему росту культурных сил и широкой демократизации знаний.

Ради этой цели он организует целый ряд культурных предприятий: «Свободную ассоциацию для развития и распространения положительных наук», «Лигу социального воспитания», общество «Культура и свобода» и т. д. Ради этого же он в своих статьях в «Новой жизни» агитирует за «немедленное, планомерное, всестороннее и упорное» культурное строительство, как наиболее верный путь в условиях переживаемого социального кризиса.

Ленин же и возглавлявшаяся им партия большевиков единственным для рабочего класса выходом из кризиса и основой всего дальнейшего социального и культурного развития страны считали завоевание революционным пролетариатом государственной власти. [illegible]ою замечательную боевую статью «Удержат ли большевики государственную власть?», написанную им за месяц до Октябрьской революции, Ленин в значительнейшей части посвящает именно полемике с публицистами «Новой жизни», утверждавшими, что

«напор враждебных сил сметет диктатуру пролетариата». Ленин пользуется этой полемикой для того, чтобы, разбивая доводы «новожизненцев», как тогда называли эту группу, укреплять партию и массы в доверии к растущим силам пролетарской революции.

«Силу сопротивления капиталистов мы уже видели, весь народ видел, ибо капиталисты сознательнее других классов и сразу поняли значение Советов, сразу напрягли *все свои силы* до последней степени, пустили в ход все и вся, пустились во все тяжкие, дошли до неслыханных приемов лжи и клеветы, до военных заговоров, *чтобы сорвать Советы*, свести их на нет, проституировать их (при помощи меньшевиков и эс-еров), превратить их в говорильни, утомить крестьян и рабочих месяцами и месяцами пустейшей словесности и игры в революцию.

А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян *мы еще не видали*, ибо эта сила выпрямится во весь свой рост лишь тогда, когда власть будет в руках пролетариата, когда десятки миллионов людей, раздавленных нуждой и капиталистическим рабством, увидят на опыте, *почувствуют*, что власть в государстве досталась угнетенным классам, что власть помогает бедноте бороться с помещиками и капиталистами, *ломает* их сопротивление. *Только* тогда мы сможем увидеть, какие непочатые еще силы отпора капиталистам таятся в народе, только тогда проявится то, что Энгельс называет «скрытым социализмом», только тогда на каждые *десять тысяч* открытых или прячущихся, проявляющих себя действием или в пассивном упорстве врагов власти рабочего класса поднимется *по миллиону* новых борцов, доселе политически спавших, прозябавших в мучениях нужды и в отчаянии, потерявших веру в то, что и они люди, что и они имеют право на жизнь...» (том XXI, стр. 276).

К первым месяцам после Октября относятся наиболее резкие выступления «Новой жизни» против большевистской тактики. Система доводов покоилась главным образом на указании отрицательных явлений, сопровождавших революцию: самосуды, уничтожение культурных ценностей, расхищение общественного имущества, анархические действия масс, взрывы мелкособственнической стихии, «всеобщее одичание»...— за отдельными отрицательными фактами «новожизненцы» не хотели видеть главного и основного — могучих созидательных сил пролетарской революции, в частности и борьбу ее с анархическими вспышками отсталых слоев массы. И здесь

«Новая жизнь» сближалась с публицистами буржуазной прессы, которая, в с в о и х ц е л я х, занималась подбором отрицательных явлений, сопутствовавших революции.

О всем круге такой публицистики Ленин писал:

«Они «готовы» были бы признать социализм, если бы человечество перескочило к нему сразу, одним эффектным прыжком, без трений, без борьбы... «готовы» вымыть шкуру, по известной немецкой пословице, только с тем, чтобы шкура все время оставалась сухою» (том XXII, стр. 156—157).

И в другой статье, в июле 1913 года, приводя пророческие слова Энгельса об империалистической войне и ее последствиях, — «голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой», — Ленин пишет:

«Как просто и ясно делает Энгельс этот бесспорный вывод, очевидный для всякого, кто хоть немного способен подумать над объективными последствиями многолетней тяжелой, мучительной войны. «Мыслима ли многолетняя война без о д и ч а н и я как войск, так и народных масс? Конечно нет. ...Ясно, как день, что создано это одичание империалистской войной и что никакая революция без долгой борьбы, без ряда жестоких репрессий освободиться от т а к и х последствий войны не в состоянии».

И далее: «Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь признать человеком такого «индивида», который видел бы т о л ь к о это в любви, в ее последствиях, в превращении женщины в мать? Кто на э т о м основании зарекался бы от любви и от деторождения?

Роды бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о д о л г и х м у к а х р о д о в, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму» (том XXIII, стр. 107, 108).

Рождение нового мира, пробивавшегося через эти муки родов, не могло не победить сомнений Горького. «Грязь и хлам, — писал он 17 мая 1918 года в «Новой жизни», — всегда заметнее в солнечный день, и часто бывает, что мы, слишком напряженно останавливая свое внимание на фактах, непримиримо враждебных жажде лучшего, уже перестаем видеть лучи солнца и как бы не чувствуем его живительной силы... Теперь русский народ весь участвует в своей исто-

рии — это событие огромной важности, и отсюда нужно исходить в оценке всего дурного и хорошего, что мучает и радует нас».

В письме к автору этой книги в связи с выходом ее первого издания в 1933 году Алексей Максимович писал:

«...На примере «наших разногласий» очень умело показана политическая мудрость Владимира Ленина, его совершенно изумительная проницательность. Значение этих «разногласий», на мой взгляд — весьма глубоко и может послужить темой для некоторых философических размышлений, ибо грубо «эмпирически», в деле знания действительности я был, наверное, «опытнее» его, но он, «теоретик», оказался неизмеримо глубже и лучше знающим русскую действительность, хотя сам не однажды жаловался, что знает ее — «мало».

«Мне кажется, что здесь «разночтение» не только в силе познающего разума и в несокрушимой правильности теории, а в чем-то еще, кроме этого. Это «еще» может быть высотой точки наблюдения, которая возможна только при наличии редкого умения смотреть на настоящее из будущего. И мне думается, что именно эта высота, это умение и должны послужить основой того «социалистического реализма», о котором у нас начинают говорить, как о новом и необходимом для нашей литературы».[1]

В своих воспоминаниях Горький рассказывает о беседах с Владимиром Ильичем на волновавшие обоих темы. Результатом бесед было принятие Горьким на себя активной работы по привлечению крупнейших интеллектуальных сил страны к советскому строительству, по организации быта ученых и писателей, по восстановлению работы высших ученых учреждений и книгоиздательской деятельности, по охране культурных ценностей страны, — той огромной работы, которую он вел в течение трех лет до своего отъезда за границу и которая оставила незгладимый след в истории советской культуры.

19 октября 1918 года Горький председательствует на первом интернациональном митинге и после этого помещает ряд статей в журнале «Коммунистический Интернационал». В этих статьях отражены как прежние «тревожные мысли» его о тяжелом духовном наследии старого мира, отравлявшем сознание рабочих масс, так и то новое, что теперь вошло в жизнь Горького, — восхищение революционной энергией героического русского пролетариата, уже получавшего отклики

---

[1] Альманах «Год XXI», № 13, стр. 57.

на Западе, у братских отрядов пролетариата. И почти каждая статья его в то же время была призывом к международным революционным силам и международной интеллигенции — понять события в России.

«Надо понять, — писал он в статье «Вчера и сегодня», — что сегодня в пыли, грязи, в хаосе разрушения уже началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, надо почувствовать, что вчерашнее зло доживает свои последние часы вместе с людьми вчерашнего дня.

Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой за торжество справедливости бойцы наиболее неопытные и слабые — русские люди, люди страны отсталой экономически и культурно, люди, измученные своим прошлым более других. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они, почти умирая с голода, идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

Честное сердце — не колеблется честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать, пока бьется сердце, — русский рабочий верит, что его братья по духу не дадут задушить революцию в России, не позволят воскреснуть всему, что смертельно ранено и издыхает...»

21

В 1921 году у Горького с большой силой возобновился туберкулезный процесс. Узнав об этом, Ленин, встревоженный, стал настаивать на выезде Горького за границу для лечения.

«А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! — писал он Горькому в августе 1921 года. — Это ей-же-ей и бессовестно и не рассчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей... Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас!»

Вскоре Горький выезжает за границу и два с половиной года лечится в санаториях Германии и Чехословакии, а весной 1924 года по указанию врачей поселяется в Италии.

Но это не было для него временем отдыха и покоя. Это было периодом возвращения его к интенсивнейшей художественной работе. В течение нескольких лет им написано было семь новых книг: «Рассказы 1922—24 гг.», «Воспоминания», «Заметки из дневника», «Мои университеты», «Дело Артамоновых» и два тома эпопеи «Жизнь Клима Самгина».

Повесть «Мои университеты» — третья часть автобиографической трилогии, начатой повестями «Детство» и «В людях». В ней Горький возвращается ко времени своей молодости. Он — в Казани, рабочим крендельной пекарни казанского купца Семенова, потом подручным пекарем в булочной Деренкова. Здесь он встречается со студенческой молодежью, в речах которой, ему казалось, звучали его «немые думы»; здесь он сам пытается «пропагандировать» среди забитых и измученных чудовищной работой крендельщиков. Приехав в Казань с мечтой об университете, он попадает в подвал булочной. Перед Лениным, который в те же годы приезжает в Казань, двери «императорского» университета раскрылись,— не надолго. В декабре 1887 года в Казанском университете возникли волнения, в результате которых Ленин с группой студентов исключен был из университета. По полицейскому донесению, Ульянов «4 декабря бросился в актовый зал в первой партии, и вместе с Полянским первыми неслись по коридору».

И случилось так, что повесть об этом времени, вышедшая в 1923 году, была для Ленина последним произведением Горького. «...Помню, — пишет Н. К. Крупская, — как слушал он «Мои университеты» в последние дни своей жизни». [1]

В 1925 году Горький выпускает в свет новую повесть — «Дело Артамоновых». Это — история трех поколений купеческого рода Артамоновых. Их «дело» — дело капиталистов — разрушается неизбежно и неотвратимо по мере роста и развития рабочего класса.

Книга эта вышла в шести изданиях в увеличенных тиражах. В это же время статистика библиотек показала, что Горький у советского читателя стоит на первом месте по читаемости, и стало фактом то обстоятельство, что с тех пор и до сего времени наши издательства, несмотря на многочисленные издания, еще далеки от того, чтобы удовлетворить спрос на сочинения Горького.

Творческий подъем Горького-художника в эти годы был изумительный. Уже в начале 1925 года, почти тотчас по окончании «Дела Артамоновых», Горький говорил одному из своих посетителей: «...Пишу, да! Пишу большую вещь. О «выдуманных» людях пишу. Много у нас было «выдуманных» людей. И их «выдумали», и они сами себя «выдумали».

Вещь эта в беседе не названа, но нет сомнения, что речь шла о повести, которая получила потом название «Жизнь Клима Самгина».

---

[1] «Лен. правда», 1932 г., № 224.

Возобновив свой старый, еще каприйский замысел об изображении интеллигента, отходящего от революции после ее поражения в 1905—1906 годах, Горький реализовал теперь эту тему в форме большого произведения, далеко, повидимому, оставившего за собой первоначальный замысел.

Это — итог интеллектуальной и социальной жизни России последних десятилетий перед революцией. Но вещь эта построена так, что все многообразные и бурные события эпохи преломляются через сознание центрального персонажа повести, Клима Самгина, «интеллигента средней стоимости», и это сделано Горьким с блистательным искусством. Повесть явилась сильнейшим разоблачительным материалом, памфлетом против той, связавшей себя с капитализмом, части интеллигенции, которая закономерно переходила в лагерь заклятых врагов революции.

Занятый напряженной творческой работой, Горький и за рубежом прикован был мыслями к своей родине. Помимо того, что он с величайшим вниманием следил за советской жизнью, советской прессой и советской литературой, как-то само собой получилось, что рабкоры, селькоры, начинающие писатели и просто рядовые участники социалистической стройки ежедневно со всех концов страны стали направлять ему десятки писем, рукописей, запросов, посылали свои литературные опыты и рассказывали о своей работе, как доброму советчику, наставнику и другу.

Писали со всех концов Советского Союза, иногда с самыми фантастическими адресами. Так, человек, смутно помнивший, видимо, что Горький жил когда-то на острове Капри, адресовал письмо так: «Швейцария. Остров Кипр. Горькому».

Впрочем, адрес не имел никакого значения, потому что все европейские почтовые магистрали направляли письма в Сорренто по одному только имени — Горький.

В письме 1926 года Горький так передавал свое впечатление от этой переписки:

«Иногда начитаешься писем, в которых всегда смех и слезы рядом, и так захочется домой, что, если бы не роман [Клим Самгин], уехал бы в глушь к чертям диким».

Здоровье его к тому времени значительно улучшилось, и, решив прервать работу над романом и ехать в Советскую Россию, Горький пишет:

«Я — человек жадный на людей и, разумеется, по приезде на Русь работать не стану, а буду ходить, смотреть и говорить. И поехал бы во все места, которые знаю: на Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на Оку и по всем бывшим

ямам и ухабам. Каждый раз, — а это каждый день! — получив письмо от какого-нибудь молодого человека, начинающего что-нибудь понимать, чувствуешь ожог, хочется к человеку этому бегом бежать. Какие интересные люди и как все у них кипит и горит! Славно».

В чем радость Горького — легко понять и по этим отрывочным сообщениям. На родине шел интенсивный процесс все большего освобождения потенциальной энергии масс, все более мощно росли их творческие созидательные силы. Под руководством партии Ленина — Сталина рабоче-крестьянские массы, разбив в гражданской войне врагов революции, восстановив промышленность страны, переходили к работам реконструктивного периода. Эта аргументация героической практикой давно заставила Горького пересмотреть вопрос о силе потенциальной энергии масс в революции, и в одной из статей своих 1927 года, посвященной рядовому строителю социализма, он писал так:

«Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства. К этому маленькому, но великому человеку, рассеянному по всем медвежьим углам страны, по фабрикам, деревням, затерянным в степях и в сибирской тайге, в горах Кавказа и тундрах Севера, к человеку, никогда очень одинокому, работающему среди людей, которые еще с трудом понимают, к работнику своего государства, который скромно делает как будто незначительное дело, но имеющее огромное историческое значение, — к нему я обращаюсь с моим искренним приветом. Товарищ! знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая свое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир».

Еще в памяти исторические сцены приезда Горького в СССР в 1928 году, толпы на площади Белорусско-Балтийского вокзала, митинг, заседание пленума Моссовета, заседание в Свердловском университете и т. д. «Мне так кажется, — говорил Горький на одном из собраний, — что я в России не был не шесть лет, а по крайней мере двадцать. За это время страна помолодела. Такое впечатление, что среди старого, в окружении старого растет новое, молодое. Дома старые, а люди новые. Вот что я вижу. Молодую страну я вижу. И я за это время помолодел».

Раскрепощение труда и освобождение всех его беспредельных созидательных возможностей было всегда самой пылкой мечтой Горького.

И теперь, по приезде на родину, на одном из торжественных собраний он говорил:

«Меня сегодня назвали счастливым человеком. Это правильно, перед вами действительно счастливый человек, в жизни которого осуществились лучшие его мечтания, лучшие его надежды. Смутные мечтания, может быть, неясные надежды, может быть, но именно те надежды, те мечтания, которыми я жил.

Если бы я был критиком и писал книгу о Максиме Горьком, я бы сказал в ней, что сила, которая сделала Горького тем, что он есть, тем, каким он стоит перед вами, тем писателем, которого вы так преувеличенно чтите, которого так любите, заключается в том, что он первый в русской литературе и, может быть, первый в жизни вот так, лично, понял величайшее значение труда, образующего все ценнейшее, все прекрасное, все великое в этом мире».

Хотя Горький и сообщал, что по приезде «работать не станет, а будет ходить и смотреть», но трудно было этому поверить, — до такой степени представление о нем связано с представлением о работе. И действительно, с первых же дней, наряду с предпринятыми обширными поездками по стране, Горький включился и в повседневную советскую культурную работу, если можно назвать повседневностью ту мощную инициативу, которую он давал советской мысли.

Он основывает и возглавляет журналы «Наши достижения», «За рубежом», «Литературная учеба», «СССР на стройке», основывает серии книг «История молодого человека XIX столетия», «Библиотека поэта», «Жизнь замечательных людей»; по его инициативе возникают такого значения издания, как «История фабрик и заводов», «История гражданской войны»; он входит со своим содействием, со своей помощью в каждое нуждающееся в такой помощи предприятие общекультурного значения: не говоря уже о таком кровном для Алексея Максимовича деле, каким было для него руководство начинающими писателями и руководство советской литературой, — шло ли дело о работах общества «Долой неграмотность!», об организации международного полярного года, о сборе книг для деревни, об институте изучения человеческого организма, о колониях беспризорных, о десятках других работ государственного и культурного значения, — всюду входил он со своей инициативой или со своим ободряющим и серьезным вмешательством. Разносторонность его интересов и знаний, блеск его мысли и инициативы были здесь поистине поразительны. Вне этих рамок — работа по

привлечению лучшей части европейской интеллигенции к борьбе с гнусной деятельностью поджигателей войны, — Горький был одним из организаторов антивоенного конгресса и членом бюро международного антивоенного комитета. И помимо всего этого и сверх всего этого, при продолжавшейся и непрерывной художественной и очерковой работе — огромное количество статей, заостренных против классового врага внутри и вне Советского Союза, направленных на борьбу с пережитками и силами капитализма, на защиту первого в мире социалистического государства.

Публицистические статьи Горького были классическим образцом пропаганды и агитации. Настойчиво, с предельной ясностью и впечатляемостью он пропагандировал достижения Советского государства, разъяснял значение труда, поднятого русским народом, значение дружбы советских народов и роста многонациональной советской культуры. Настойчиво агитировал он за помощь Советскому Союзу всего передового человечества, и с каждой статьей его множились наши друзья и приверженцы.

Дружба со Сталиным, как в свое время дружба с Лениным, освещала жизнь Горького, делала еще могучее, еще устойчивее его великую деятельность в Советском Союзе.

Как товарищ Сталин ценил деятельность Алексея Максимовича, видно из письма его в связи с сорокалетием литературной работы Горького:

«От души приветствую Вас, — писал товарищ Сталин, — и крепко жму руку. Желаю Вам долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам. . .»

«На страх врагам» была работа и самая жизнь Горького. История мировой литературы знает много писателей, принимавших бурное участие в социальных битвах своего времени. Но не было еще такой крепкой связи всей работы и всей жизни с борьбой, не было такой соединенной силы в борьбе, как в этом двуедином образе писателя и бойца.

Горький всегда обладал огромной волей к труду. Но та литературная, публицистическая, организационная деятельность, которую он развернул в советскую эпоху, является наиболее блистательным примером его гигантской работоспособности.

Интересно отметить, что еще в 1927 году, в самый канун нового периода политической и литературной деятельности Горького, могло возникнуть обсуждение вопроса — пролетарский ли писатель Горький? Искажая учение Маркса — Ленина об искусстве и литературе, утверждали, например, что талант

Горького сформировала мещанская среда и что даже тот факт, что Горький отталкивается от мещанства и борется с ним, доказывает, что он — мещанский художник.[1] По этому поводу А. Луначарский остроумно заметил, что «с такой точки зрения и Маркс будет тоже не пролетарский писатель... несомненно, что он всю жизнь боролся против капитализма».

Вопрос о том, ч т о изображает художник, трактовался как вопрос самодовлеющий, без учета, к а к о е н а з н а ч е н и е имеет изображение, какую социальную функцию несет произведение, и, побочно, получался доктринерский вывод, что дело действительного пролетарского писателя — изображать только жизнь и быт пролетариата, как будто пролетариату достаточно знать только жизнь своего класса. А с этим последним мнением боролся еще Ленин, когда писал:

«Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных (актуальных) политических фактах и событиях не научатся наблюдать к а ж д ы й из других общественных классов во в с е х проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов; — не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую оценку в с е х сторон деятельности и жизни в с е х классов, слоев и групп населения... Рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми п р и к р ы в а е т каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползновения и свое настоящее «нутро»...» (том IV, стр. 414—415).

Значение художественных созданий Горького для пролетариата было в том, что он умел показать в своих рассказах и повестях «экономическую природу и социально-политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка» и многих других социальных типов, умел показать их «сильные и слабые стороны» и оценить с точки зрения революционных позиций рабочего класса; в том, что в романе «Мать», имевшем огромное влияние в рабочих массах России и Запада, показал пафос и практику классовой борьбы пролетариата; в том, что в других своих повестях и

[1] «Вестник Ком. акад.», 1927 г., № 24, стр. 270.

романах показал всю силу гнетущего влияния классового капиталистического строя на формирование психики человека и все средства, которыми пользуются в этих целях господствующие классы, — от религии до провокации; в том, что показал и непобедимое прорастание сквозь мертвящие пласты этого гнета живой и творческой энергии человека; в том, что на широком художественном полотне «Клима Самгина» учил разбираться в тех «ходячих фразах и всевозможных софизмах», которыми прикрывают враги революции «свои эгоистические поползновения и свое настоящее нутро»; и в одном из последних своих произведений, в пьесе «Егор Булычев и другие», он снова и с неувядаемой силой таланта разоблачил социально-политический облик и «нутро» людей умирающего класса.

Неизмеримая историческая заслуга Горького в том, что в эпоху решающей схватки рабочего класса с капитализмом он своими художественными произведениями приобщал к революционному сознанию широчайшие массы читателей; в том, что и своими художественными произведениями, и своей публицистикой, и прямой революционной работой он укреплял боевое сознание масс как виднейший соратник великих вождей Ленина и Сталина в борьбе за победу коммунизма.

В эту борьбу за освобождение от капиталистического рабства Горький вложил огромные и многообразные силы своего гения. Вот почему пролетариат с глубокой убежденностью называет его своим великим писателем.

22

О другом великом русском писателе, Льве Толстом, В. И. Ленин писал в 1910 году:

«Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая у ж е ненавидит хозяев современной жизни, но которая е щ е не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними» (том XIV, стр. 407). Выразителем в литературе тех эксплоатируемых масс, которые не только уже ненавидели «хозяев жизни», но и дошли до «сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними», был М. Горький.

И история словно нарочно сделала так, что великий писатель, выразитель этих масс, самою жизнью своей как бы символизировал мучительный рост их сознания, их напря-

женную борьбу. С детства он сам завоевывал себе все: право на развитие, право на чтение, на духовный рост, на жизнь человеческую, а не свиноподобную. В этой борьбе он «напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой». А когда, вырвавшись из лап отвратительной купеческо-мещанской среды, он сделал попытку прорваться к учению в университете и вместо того попал в условия отчаянно трудной босяцкой жизни, это послужило ему новой закалкой.

«Во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя».

Можно сказать, что и русский рабочий класс, вместе с которым рос Горький, тоже чувствовал себя и крепче и умнее по мере роста своей сопротивляемости самодержавно-полицейскому государству и капиталистической эксплоатации.

То было время, когда эксплоатируемые массы накопляли огромную революционную энергию, когда значительная часть крестьянства пролетаризировалась, переходя из-под власти крепостнической эксплоатации под ярмо промышленного капитала, когда все более нарастал протест против всякого гнета и когда пролетаризирующиеся массы, уходя из-под власти наихудшей, раздробленной формы эксплоатации, всё бо́льшими массивами соединялись на одной работе, классово организующей их и объединяющей для общей борьбы. Это было время, когда молодой Ленин громил «народников», не понимавших революционного значения рабочего класса, и указывал исторические пути к победоносной коммунистической революции.

Горький рос вне большого рабочего коллектива. Но страстные поиски им сплоченного коллектива, поиски рабочей солидарности в труде и борьбе характерны для всей его молодости.

Придя в Тифлис, сойдясь там на работе в железнодорожных мастерских с кругом рабочей молодежи, образовав совместно с товарищами пропагандистские кружки, он нашел недоставший ему рабочий коллектив и нашел ту правду, которая определила его жизненный и писательский путь.

Его странствия, эта его «путевка», данная ему трудовой родиной, зарядили его тем оптимизмом борьбы, который нашел свое отражение уже в первых его рассказах. Широта степи, необъятность моря, мириады тонн солнца и воздуха — все, что он получил в дар от своей родины, все это отразилось еще небывалой в русской литературе силой оптимизма. И люди его рассказов были невиданные до него в русской литературе. При всей нищете своего внешнего быта они са-

мым существованием своим непримиримо требовали себе места в жизни. Изображение «униженных и оскорбленных» с целью вызвать гуманные чувства в буржуазном обществе совсем не входило в задания автора. Не милости к ним, не сочувствия «падшим», не помощи от щедрот «общества» требовал автор. Он показывал неизбежность того, что эти униженные и подавленные сами поведут борьбу за свои права.

Все накопленные дворянской, либерально-буржуазной и отчасти народнической литературой представления о «кротости», «терпении» русского «меньшого брата» сдавались Горьким в историю. Вместо прославленной «искры божией», которую литература этих формаций так усердно искала в душах униженных и эксплоатируемых, чтобы оправдать к ним гуманное отношение «общества», здесь, в рассказах Горького, был грубоватый, не прикрытый традиционной мягкостью в изображении «простого русского человека», свободолюбивый и непреклонный дух протеста, настроение людей, никак не согласных на покорное и «кроткое» подчинение «хозяевам жизни».

Связь деятельности Горького с растущим боевым настроением рабочих масс, связь с народным, демократическим подъемом в стране была несомненна.

Но была и обратная связь. Русский героический рабочий класс, выдвинув в эпоху своего роста и подъема великого писателя, воплотил в нем свою несокрушимую волю к победе, дал ему свою поистине неиссякаемую страсть в борьбе.

Жизнь Горького всегда полна была изумительной энергии. Не прерывая своей художественной работы, он является одновременно и публицистом и общественным деятелем, всегда занят он и прямой революционной работой.

В годы перед первой русской революцией его имя является подлинным знаменем революционной бури, в октябре 1905 года он организует первую легальную газету большевиков, принимает участие в организации декабрьского восстания в Москве, агитирует за границей против наступающей на страну контрреволюции, в годы реакции работает в тесной связи с Лениным, поддерживает прессу большевиков своим энергичным участием, а в общей прессе не прекращаются его боевые выступления за демократическую литературу против литературы разложения, литературы нытья, ренегатства, разнузданной богемы и религиозного хлыстовства.

Бурная и интенсивная общественная работа и публицистические выступления, как и прямая революционная деятельность не помешали Горькому подняться на новую творческую

ступень, к новым вершинам своей художественной работы. Наоборот, эти два десятилетия политической борьбы в значительной степени и создали и подготовили новый подъем его творчества. И произошло это тогда, когда после «Матери», «Врагов» и ряда политических памфлетов буржуазная критика в России объявила о «конце Горького», а буржуазный Запад отказался от переводов его произведений.

На широчайшем бытовом, автобиографическом и историческом материале Горький в ряде произведений снова и снова с изумительным мастерством показывает враждебные революции силы, побеждаемые творческими силами людей труда и героической борьбы.

Наслаивались годы, множились его великолепные произведения, падала и снова взметалась еще выше мировая слава, — он, Алексей Максимович, оставался все тот же, знал все ту же «одной лишь думы власть» — о преобразовании мира, о конечной победе революции. И несмотря на колебания, вызвавшие в его публицистике неверные ноты, он оставался писателем выдающихся его масс, всегда чувствующим органическую связь с ними.

В предисловии к сборнику своих статей (в 1931 году) он прямо указывает на то, как на него влияют настроения масс. Он сообщает, что не устраняет повторений, потому что хочет, «чтобы тт. читатели видели, как — сообразно повышению их настроения — повышалось и настроение писателя». А когда он, вернувшись из Италии в Советский Союз, принял участие в делах литературных организаций, его первым и постоянным требованием к советским писателям было требование повышенного отношения к действительности, требование равняться в этом пафосе по рядовому героическому строителю социализма, по авангарду рабочего класса, с его, как он говорил, «эротическим» отношением к действительности.

Горький требовал напряженной работы всех приводных ремней советской литературы, требовал максимальной помощи от литературы в борьбе за победу коммунизма, требовал всенародности литературы по пафосу, содержанию и языку.

Как он досадовал, когда ему казалось, что особенности языка послужат препятствием для понятности хорошей книги во всех концах страны или что перевод этой книги представит затруднения для распространения ее за пределами русского языка.

Советский писатель, по его представлению, должен быть понятен во всем мире, должен быть рупором побед социализма, глашатаем его идей. Поистине к высокому назначению

звал он до последнего дня своей жизни советскую литературу, и мы знаем, мы видели, как он не жалел себя, как тратил свои силы, чтобы передать этому делу свою неуемную, великую страсть.

Ради этого и ради предложенных им предприятий высокого культурного значения он отодвигал свою художественную творческую работу, хотя не мог не помнить, что «Жизнь Клима Самгина», его значительнейшее произведение, еще не кончено.

Но Горький не раз говорил о себе, что он никогда не чувствовал себя «только писателем».

«Довлеет дневи злоба его, — писал он мне в одном из писем 1931 года, — что поделаешь? Я всегда чувствовал себя человеком с е г о д н я. Вот и теперь с утра до ночи сижу, читая материал для журнала «Наши достижения». Уже достиг бессонницы».

Как машинист Нил в пьесе «Мещане», Горький «на все средства души своей» всегда стремился удовлетворить свое желание «вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так, и этак: тому — помешать, этому — помочь...»

Неисчислимо количество людей, которым он помог, кого поставил на ноги, ободрил в работе, воодушевил, научил. И если замечал хоть искру таланта, не жалел никаких усилий своих, чтобы раздуть ее в пламя; если видел у человека доброе желание служить общему делу, широко раскрывал этому человеку свое сердце.

«Кто дерзает быть писателем, — писал он молодой девушке-поэту, — должен быть всегда и беспредельно искренним. Кто хочет быть писателем — должен найти в себе — себя — непременно... Берегите, берегите себя от чуждых Вам настроений, раз Вы хотите писать, а не пересказывать чужие слова... Слушайте всего больше саму себя и работайте, работайте, работайте! Изучайте язык, форму. И, разумеется, смотрите на людей, на жизнь, на горы, море, цветы, камни, пыль, грязь — на все! Думайте! Думайте! Всего хорошего Вам, всего хорошего!»

Вот другое письмо — каприйского периода:

«В душе усталость и равнодушие», — пишете Вы, солдат, сорока лет от роду, автор хорошей повести, человек с живым сердцем. Мне странно слышать это и я думаю, что имею дело с настроением временным, вызванным усталостью и неудачей, постигшей Вашу последнюю работу.

Позвольте сказать Вам вот что: лучший друг и учитель человека, живущего широкими интересами, вдохновляемого

большими желаниями, именно — неудачи. Это я говорю совершенно серьезно, с полным убеждением. Поверьте, что в моих глазах вся двадцатилетняя работа моя в литературе — ряд неудач. Тут нет рисовки, нет позы: это простое и ясное сознание факта. Я не написал ни одной вещи, которую сам мог бы прочитать не то что с чувством полного удовлетворения, но даже хотя бы просто с удовольствием. Это — трагедия всякого честного писателя, да и не только писателя, а просто честного русского человека, который живет в стране, слишком медленно растущей духовно, полной несделанного дела, которое надобно, необходимо сделать».

Из писем того же времени:

Для слесаря Семенова на станцию Мелитополь Горький просит послать книги.

«Очень буду рад узнать, что Вы любезно сделаете это. Хорош парень и серьезно хочет учиться. Сейчас в России я не вижу ничего более ценного, чем эти люди».

Для мальчика Аркадия Колпакова просит послать деньги и абонемент на журнал «Природа и люди»:

«Сей Аркадий — гимназист второго класса архангельской гимназии, закадычный мой друг. Издает очень хорошо журнал, — но — не имеет сапог. Любит читать и — не имеет книг. Усердно прошу — не медлите снабдить его сапожишками и книжками!

Очень хорош человек!»

«Талант? — пишет он начинающему писателю. — Это — любовь к своей работе, уменье работать. Надобно отдавать всего себя, все свои силы избранному делу. Учиться надо, учиться! . . Подумайте: так же как каждый из вас встает к новой жизни, хочет ее строить, — так же, постепенно, поднимаются к ней воли, воображения, мысли десятков миллионов людей».

Горький обладал умением мыслить волей, чувством, воображением масс, в то же время различая и вглядываясь в каждое лицо, пестуя усилия каждого, хотя бы и самого маленького человека. Ведь не просто по доброте он был столь отзывчивым, что писал сотни писем, отвечая на какой-нибудь даже самый простодушный запрос из глухого захолустья, из какой-нибудь российской щели. А он всегда отвечал, если только угадывал по письму или рукописи ростки таланта, усилие воли, стремление — «вперед и выше».

А в советский период переписка его колоссально расширилась, высоко поднимая настроение Алексея Максимовича. «Разбирая письма, — писал он мне в 1931 году, — коими осы-

пает меня «Русь», завидую человеку, который будет рыться в моем архиве».

Его дарование художника слова, огромный опыт профессиональной работы, восприятие каждого нового литературного явления почти как своей личной удачи, давняя роль страстного организатора сделали его естественным средоточием советской литературной жизни, и в 20—30-х годах, можно сказать, не было ни одного советского писателя, так или иначе не обязанного Горькому помощью, вниманием, советом, а иногда и литературным бытием.

«Я — профессиональный читатель, — писал Горький, — влюбленный в литературу. Каждый раз, когда приходит новая книга, я открываю ее с глубочайшим волнением, напряженно ожидая найти в ней что-то новое, радостное, талантливое».

Великому делу пропаганды художественным словом он был привержен беспредельно. Отдать всего себя, всю свою волю общему делу, — этого он требовал и от других.

Писатель посылает ему свою книгу и сообщает: «Вот все, что я могу дать, большего не требуйте». Горький прочел книгу и отвечает: «Я Вам не верю. Вам лень работать. «Если можешь — должен». Вы можете, это Вами доказано, значит Вы — должны работать».

Другой автор обороняется от Горького так: «Писателю невозможно быть энциклопедистом». «Если это Ваше крепкое убеждение, — резко отвечает Горький, — бросьте писать, ибо убеждение это говорит, что Вы неспособны или не хотите учиться. Писатель должен знать как можно больше. А Вы пытаетесь выговорить себе право на безграмотность». И, сурово отчитав автора, Горький в конце письма мягко убеждает: «Мне думается, что Вы человек упрямый, волевой, и что у Вас заметны признаки таланта. Может быть, Вы попробуете учиться писать. Следовало бы».

«Сомнение — для художника — прекрасное свойство, а вот самомнение — пагуба», — говаривал Горький, и велик был его гнев, когда он встречал такое самомнение в сочетании с нежеланием честно работать.

«Не буду перечислять глупости и пошлости, которыми заполнены почти все страницы Вашей книги, не только просто плохой, а — постыдно плохой.

С чувством искренней горечи пишу все это. Как могут существовать в Союзе Советов литераторы такого типа, литераторы совершенно лишенные чувства уважения к читателям? И при всем этом, при отсутствии сознания социальной связи

с читателем, при наличии анекдотической малограмотности Вы хвастливо говорите: «Я и моя творческая группа»... «Вся моя творческая группа» — это Вы, организатор и руковод группы, Вы — сочинитель такой халтурной книжки? .. Одумайтесь. Вам нужно учиться, а не руководить «творческой группой». Я пишу Вам грубо, но я через Вашу голову говорю всем таким сочинителям, как Вы: одумайтесь, учитесь работать честно.

Вы должны понять, что в наших советских условиях плохая работа — бесчестная работа».

«Рассказы Ваши, — пишет Алексей Максимович другому писателю, — вызвали у меня такие мысли: как странно! Человек живет в государстве, где десятки миллионов людей, не щадя своих сил, создают новые формы жизни, где сотни тысяч молодежи обучаются в вузах и уже выделили из среды своей десятки очень крупных деятелей в область науки, где рабочий класс ежегодно увеличивает кадры администраторов, изобретателей, быстро создавая свою, пролетарскую интеллигенцию; человек живет в стране, где трудовая энергия творит чудеса... и — живя в такой стране, среди такого народа, человек не видит в ней никого, кроме каких-то полуидиотов, да и сам себя изображает тоже полуидиотом.

Если Вам серьезно хочется работать в области литературы, поймите, что художник должен знать и свет, и тени. Историю культуры не дураки создавали, и у нас новую культуру не дураки строят, а Вас почему-то интересуют только дураки. Юмор — не для того, чтоб смешить, а для того, чтоб высмеивать. Вы же, пока, не умеете ни того, ни другого. Но способности у Вас — есть и Ваша обязанность — всесторонне разрабатывать их.

Желаю Вам успеха в работе над собой, если Вы ее начнете».

Честный, упорный, настойчивый, будничный, иногда мучительный труд, — это, по убеждению Горького, — основа литературного дела.

«...Не серьезное, поверхностное отношение Ваше к литературной работе объясняется тем, что Вам очень дешево далась известность», — пишет он автору, слишком спешившему к славе.

«Нет сомнения, — пишет он другому писателю, — Вы даровитый человек, но — извините — плохой работник, — слишком торопитесь сделать и, видимо, не чувствуете наслаждения делать».

Радость работы, любовь к работе, — о величайшей ценности этого свойства не уставал повторять Горький. «В прирожденную талантливость я плохо верю. По-моему, есть только один талант: уменье делать всякое дело с любовью к нему».

«В общем же — дерзайте! — пишет он начинающему писателю, разобрав его первые рукописи. — Но — учитесь! Это прежде всего и — навсегда, до смерти».

«А рассказы пишите так, как будто читатель — интимнейший Ваш друг, Вы его любите, уважаете, сами же имеете рассказать ему — просто и не рисуясь — великие, только Вам известные, Вами впервые открытые тайны жизни».

«Вы спрашиваете: как писать? — отвечает он другому корреспонденту. — Пишите так, как будто Вы — свидетель на вековом суде правды с кривдой, а судья — Ваш лучший друг, в справедливость его Вы безусловно верите и скрыть от него ничего не хотите, даже — не можете».

Эти проникнутые глубокой мудростью мысли Горького относятся ко времени писания им его самого значительного произведения, четырехтомной эпопеи «Жизнь Клима Самгина». Она охватывает почти полвека в истории России, и Горький писал ее именно так: как свидетель — и какой великий, какой многоопытный и многознающий свидетель! — на вековом суде правды с кривдой.

23

В «Жизни Клима Самгина» Горький поднял огромные пласты нового материала, нашел для себя новые формы повествования, и эта эпопея останется изумительным памятником его неувядающих сил.

В ней дан крепкий узел исторических событий, показаны судьбы людей на протяжении многих лет их жизни. Какое количество персонажей проходит перед читателем, — капиталисты всех калибров, интеллигенты всех толков, рабочие, крестьяне, люди «всех состояний»!

Рукопись обрывается на картинах Февральской революции, обрывается, можно сказать, на полуслове, — смерть помешала докончить Горькому это произведение, которым он творчески жил в течение последних десяти лет своей жизни.

Последний, четвертый том остался в черновом виде, неоконченный и частью недоработанный. Но изучение рукописи

позволило в большинстве случаев точно прочесть текст, определить места многочисленных вставок и сохранить замысел автора во всех деталях.

Огромно познавательное значение этой вещи. Поток событий, смена персонажей, эволюция характеров и конечные судьбы людей, — все это очерчено в полную силу горьковского мастерства.

В одном из писем ко мне последнего периода Алексей Максимович сообщает, что, вспоминая о прошлом, о датах и хронологии, он замечает, что его «перегруженная память» начинает «пошаливать». Но «зрительная память», — пишет он, — «на фигуры, лица, на пейзаж» все так же сильна. «И она позволяет мне корректировать ошибки памяти разума».

Исторический романист создает свои вещи на основе изучения материала и на основе творческого воображения. Эпопея Горького создана силой в о о б р а ж е н и я и п а м я т и. И какой огромный творческий труд, какое феноменальное напряжение памяти нужно было для создания этого произведения, воплотившего в живых образах сотни людей, — образах социально значительных, исторически точных и данных с такою силой выразительности, что каждый из этих людей, какое бы эпизодическое место в повести ни занимал, не забывается.

Этот художественный подвиг будет в полной мере оценен грядущими поколениями.

Но вместе с тем повесть Горького меньше всего может считаться только чем-то вроде «исторической хроники», бесстрастного рассказа о прошлом.

Последний творческий труд Горького — в то же время последний боевой вклад в его борьбу за счастье великого народа против всех гнетущих сил и пережитков прошлого.

Чем так значительно изображение центрального персонажа повести — Клима Самгина? Тем, что этот герой, самым тесным образом связанный с условиями социальной среды и исторического времени, биография которого так мастерски вплетена автором в биографию эпохи, этот персонаж перерастает отведенные ему рамки и по силе художественного обобщения становится в ряду типов мировой литературы.

Историческая точность изображения Самгина подтверждается рядом документов, начиная со времени его молодости. Вот, например, лидер демократической интеллигенции второй половины 80-х годов Н. В. Шелгунов в одной из своих статей дает такую характеристику современной ему буржуазной молодежи:

«Восьмидесятники — люди практические в обыденном смысле этого слова. Они слишком холодны и рассудочны, чтобы чем-нибудь увлекаться, и слишком любят себя и свое тело, чтобы в каком бы то ни было случае забыть о себе. В них до непомерности развито чувство личного я, но только в сторону самосохранения. Наклонность ума стлаться по земле и уходить в мелкие личные интересы сообщает уму восьмидесятника низменный пошиб, лишает его порыва, полета вверх и вширь и приучает к холодной рефлексии, ко всяким сомнениям и даже безверию в лучшие, благороднейшие человеческие стремления и в личную и общественную нравственность».

Все это — довольно точная характеристика людей типа Самгина. Несомненно, что Горький издавна и пристально всматривался в этих людей, занявших в то время, в восьмидесятые годы, господствующее положение в общественном быту. Имея в виду Самгина, Алексей Максимович писал мне:

«У меня после 1905—1906 гг. сложилось весьма отрицательное отношение к людям этого типа. Было недоверие к нему и раньше, «от юности моея».

В 90-ые и 900-ые годы, в период нарастания первой революции, «люди этого типа», любя больше всего «себя и свое тело», опасались проявлять несочувствие к нараставшей революции, усиленно маскируясь ее сторонниками, но больше всего и всеми силами жаждали приближения отлива, который дал бы им, наконец, устойчивое и спокойное место на интеллектуальных верхах буржуазного общества.

Махровым цветом расцвели Самгины в эпоху реакции после 1906—1907 гг. Мистика, эстетство, эротика заполонили литературу, являясь различными личинами животного страха перед повторением революции, в то время как вожди буржуазной интеллигенции призывали к преданности самодержавию, охраняющему ее штыками от «ярости народной».

Изображению этого мутного времени посвящена значительная часть четвертого тома повести. И нужно сказать, что это — одно из наиболее блестящих проявлений горьковской сатиры. Замечательно показано и нарастание в этой среде тревоги перед новым подъемом демократических масс. Время от времени сюда доносятся отзвуки работы боевых работников пролетариата во главе с крепкой, веселой, обаятельной фигурой большевика Кутузова.

Кто же такой Клим Самгин? Это — мещанин под маской «аристократа духа». Этот мещанин, живущий в эпоху нара-

стания пролетарской революции, устрашенный грохотом истории, предан всем существом своим старому миру. Это — самодовольный умник, претендующий на право духовного господства над массами. Это — воплощение уклончивости, лжи и лицемерия, это — трус, избегающий всякого прямого столкновения и больше всего жаждущий материального довольства, личного покоя и душевного бездействия. В погоне за этим идеалом личного быта он откупается от жизни двойною игрою — здесь рождается профессиональное предательство. С большим мастерством показано в повести, как к «честному» Самгину отовсюду как бы самопроизвольно тянутся липкие нити откровенной продажности. Под маской высокого интеллекта здесь — прямая агентура капитализма в эпоху решающей и смертельной для него схватки с пролетарской революцией.

Самгины пронесли через эпоху первой революции и эпоху реакции мечту о подавлении революционного движения масс, прикрываясь личинами «аристократов духа» и затейливыми философскими построениями, рисуясь независимостью и оппозицией власти, но на деле являясь преданнейшими слугами капитала. После Октябрьского переворота ожесточенные тем, что история отбросила их как ненужную ветошь, они становятся тайными идеологами реставрации капитализма и в условиях социалистического строительства двурушничали, предавая революцию.

В образе Самгина Горький заклеймил особый тип врагов революции, с изумительной точностью раскрыв их психологию — ту почву, на которой появляются и произрастают двуличные «друзья» и тайные враги.

«...Враг вполне заслуживает непрерывного внимания к нему, он доказал это. Нужно уметь чувствовать его, даже когда он молчит и дружелюбно улыбается, нужно уметь подмечать иезуитскую фальшивость его тона за словами его песен и речей. Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нимало не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов».

Так писал Горький при известии о смерти С. М. Кирова, убитого агентурой фашизма, троцкистско-зиновьевскими заговорщиками. Всею силой своего творческого дарования он изобличал врагов революции и всею силой своего публицистического темперамента призывал к беспощадной борьбе с ними.

Лютой ненавистью отвечали враги Горькому. Он был той вершиной пролетарского сознания и революционной энер-

гии, которую не могли обойти своей ненавистью лакеи фашизма, яростно и злобно мечтавшие о реставрации капитализма, о том, чтобы залить кровью нашу родину и привести ее снова под ярмо, снова восстановить мир эксплоатации, нищеты, насилия и грабежа.

Антисоветский «право-троцкистский блок» решил убить Горького. Более тридцати лет до того черная сотня просто послала на Горького убийцу с ножом. Теперь убийцы оказались более изворотливыми. Против Горького был составлен гнусный заговор. Через своих агентов «право-троцкистский блок» окружает Горького сетью предательства, осуществляет злодеяние, которому нет имени на человеческом языке. Это отребье людей знало, что невозможно было бы иначе заглушить высокие призывы Горького, слышные во всем мире, что нет сил, которые могли бы поколебать его бесконечную преданность делу Ленина — Сталина, нет никаких надежд оторвать его от близости к Сталину.

Могучий подъем освобожденных творческих сил народа был для Горького осуществленной мечтой всей его жизни. «Я пишу сейчас в том настроении, которое на утренней заре культуры позволяло людям создавать неувядаемые поэмы, легенды», — так писал он в одной из своих статей последних лет. А в последние дни своей жизни, в июне 1936 года, в дни опубликования Сталинской конституции, он говорил ухаживавшим за ним лицам:

«Вот мы тут с вами пустяками занимаемся, ненужным делом, а ведь теперь в стране, может быть, камни поют».

До конца дней своих он оставался ясным душою, мужественно переносящим страдания, с мыслью о грядущем счастье раскрепощенного человека, с мыслью о родине, о ее вожде.

Каждый писатель воплощает в своих произведениях опыт своей жизни, передает опыт виденного, слышанного, пережитого им. И чем шире этот опыт, чем шире кругозор писателя, чем глубже анализ всего виденного и пережитого им, тем крупнее писатель и тем значительнее и долговечнее его произведения.

Но есть писатели, которые воплощают в своем творчестве не только опыт своей жизни, но опыт целой эпохи, и таких писателей мы называем великими писателями. Воплощая опыт целой эпохи, великий писатель отражает и основные,

национальные черты своего народа, последовательно и полно выражает чаяния и стремления широчайших народных масс.

Деятельность Горького отразила опыт эпохи подъема русского пролетариата. Горький был вестником и глашатаем бури, возродившей Россию на новых началах. И связь Горького с выдвинувшими его массами была в первую очередь связью с авангардом демократии, с рабочим классом.

«...У меня еще в юности, — писал Горький, — возникло сознание — вернее, чувство, — органического родства с рабочим классом и всегда была... тревога за его судьбу, — тревога араба за источник, оживляющий его оазис в песках пустыни».

Эпоха восстания пролетариата во главе демократических масс России вела от раздвоения воли и сознания к целеустремленности воли, вела к титаническим усилиям коренного переустройства родины. И весь дух эпохи, ее идей, ее сознания был связан с этим становлением и укреплением национальной воли в движении, которое завершилось Великой Октябрьской социалистической революцией.

Нельзя понять Горького, не уяснив, какое место в его творчестве занимает эта выдвинутая эпохой восстания проблема национальной воли. Можно даже сказать, что во всем его творчестве от первой до последней строки, начиная с первого полуфантастического рассказа «Макар Чудра» — о таких волевых и свободолюбивых людях, как Радда и Лойко, до последних страниц романа «Жизнь Клима Самгина», где Ленин является на броневике на площади Финляндского вокзала как воплощение всенародной воли, — всюду мы видим решение именно этой проблемы.

Вся литературная деятельность Горького проникнута страстной идеей о необходимости возбудить активность творческих сил народа. «Вперед и — выше! — Вы знаете, что это мое старое, — писал он мне в одном из последних писем, — и, может быть, только это и есть у меня».

Очень простые и скупые слова. Но в них — пласты большого времени, в них отражены колоссальные усилия и великие победы целой эпохи.

В самой жизни Горького как бы воплощена была неисчерпаемость сил русского народа. Каким воспитанием воли, каким напряжением всех интеллектуальных и физических сил выстоял он свою трудную, замечательную, огромную жизнь!

И вспомним опять, что о самом тяжелом, страшном периоде своей жизни, о времени казанских скитаний, он писал:

«Чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя».

Это — тоже знаменательные слова, можно сказать — слова глубокого национального содержания. Не раз приходилось нашей родине выносить тягчайшие испытания. Выстояла русская земля, в самые трудные, самые трагические свои годы выстояла! И чем труднее слагались условия, тем крепче и умнее становилась русская земля!

Вот почему мы называем Горького великим национальным писателем. Не только потому, что творчество его пронизано народными образами, что в произведениях его так метки и сильны прожилки народной мудрости, такое в них богатство поговорок, пословиц, песен, легенд и сказаний. А потому, что в своих устремлениях, в своих страстных поисках Горький явился выразителем воли широчайших народных масс, и его воля, горьковская воля, — от великой воли и стойкости народа.

Богатырем воли и труда был Горький. Знавшие Горького в его быту знали его изумительную, неисчерпаемую энергию. «Я слишком русский, — писал он в 1910 году, в один из очень трудных периодов своей литературной деятельности, — хорошо заряжен с юности, и пороха у меня хватит надолго».

Чтобы так уверенно и гордо указать источник своей энергии, нужно очень крепко чувствовать связь свою с народом и его историей. И Горький всегда восставал против всякого искажения роли народа в истории. Так, когда в 1912 году в одном журнале появилась статья о войне 1812 года, и в статье этой носителем в ту эпоху «духа нации» признавалось дворянство, Горький выступил с возражениями против такого вывода, «невозможного, неправильного и странного».

«12-й год, — писал Горький, — эпоха неясная, наша история еще не успела всесторонне осветить это время. Мы знаем, как Москва была сожжена, но не знаем, при каких условиях она восстанавливалась. Есть данные думать, что народ, защищавший родину, чувствовал себя хозяином ее, и очень возможно, что, по скорости, эти данные будут подтверждены изданием мемуаров, относящихся к тому времени и пока еще не публиковавшихся».

Не будучи историком, не располагая документами, Горький с глубокой убежденностью защищал точку зрения, впоследствии полностью обоснованную нашей наукой.

Соответственно такому взгляду, и в былинных богатырях Горький видел воплощение трудовых подвигов устроения рус-

ской земли, память о которых бесписьменный еще народ оставил в песнях.

Этот источник народной мудрости питал Горького с детства, обогащал он его и всю жизнь. Внимание и любовь к фольклору Горький не уставал пропагандировать среди писателей:

«Всегда, неутомимо точите ваше оружие, изучайте неисчерпаемо богатый, мягкий, прекрасный язык народа! Он может дать вам силы для выражения чувств и мыслей доступных гению».

И в критической части своего творчества Горький в негативной форме решал те же проблемы национальной воли. В 900-х годах он пишет ряд пьес, в которых с возрастающей страстностью ставит вопрос об ответственности интеллигенции перед родиной и историей, разоблачает людей раздвоенного сознания, людей искривленной воли, отметает отживающее, ищет творческое начало и растущие силы жизни.

Когда-то в ответ на упреки в том, что в «Ревизоре» нет ни одного честного лица, Гоголь сказал: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица, это честное лицо, действующее в пьесе, — смех».

В пьесах Горького, где так много людей безвольных, тряпичных, которые даже застрелиться, убить себя не смеют и не умеют, людей, которые «ни богу свечка, ни чорту кочерга», всегда присутствует другое действующее лицо — негодование, презрение, призыв к волевому, творческому началу жизни.

Да и все произведения Горького проникнуты этим призывом. От ранних образов его первых рассказов, от Челкаша, иловщика Силана, рыбачки Мальвы, людей цельного, сильного характера, противопоставленных дряблым, размагниченным людям; через изображение даровитых кондовых купцов, которых Горький писал с завистью, — это чужие люди, они враждебны новой, демократической России, но какая у них воля, умение, ум и упорство, это — русские люди, которые родились «не на той улице», как он впоследствии определил купца Булычева; через образы героев «Матери», людей, предвещавших, что Россия «будет самой яркой демократией земли»; через вместительнейшую галлерею других революционных образов до большевиков романа «Жизнь Клима Самгина» — таков путь Горького. Все время говорил он о людях сильной воли, все время разоблачал он людей раздвоенного сознания, имея одно страстное желание — воскрешение национальной воли для борьбы за свободу и счастье народа, за свободу и счастье страны.

Творческим силам человека Горький не видел предела. «Человек — чудо, — писал он, — единственное чудо на земле, а все остальные чудеса ее — результаты творчества его воли, разума, воображения. Он и богов выдумал потому, что все хорошее, что он в себе чувствовал, он не мог воплотить в реальную жизнь».

И такова была его страстная воля к труду, к «красоте деяния», что он, бывало, всерьез обсуждал проблему бессмертия человека... «Было бы разумнее и экономнее, — писал он, — создать людей вечными, как, надо полагать, вечна вселенная...» Ему мало было долголетия, он требовал неограниченного во времени бытия, не потому ли, что силы его жизнедеятельной страсти были поистине неиссякаемы.

23

В повести «Все то же» говорится: «Люблю свой народ, цены ему нету!.. У нас народ из чугуна литой, на долгие века народ...»

Много, часто и с какой вдохновенной преданностью своему народу говорил о нем Горький, о великих подвигах его в истории, о его стойкости в испытаниях, о его одаренности и скрытых в нем творческих силах. Но было бы ни в какой мере неправильно представлять его писателем национально ограниченным. Русский богатырь Василий Буслаев в поэме Горького мечтает о всемирном труде, о том, чтобы украсить землю, как невесту. И не было бо́льшего счастья для Горького, как думать о значении русского творчества для всемирной культуры.

А какое внимание и постоянство, какую сосредоточенную заботу издавна проявлял Горький в деле познания и пропаганды культуры народов, поставленных в историческую связь с русским народом!

Еще в 1912 году он писал:

«Можно очень быстро организовать сборники произведений сибирских и белорусских, украинских писателей, латышский и татарский — казанских татар. Затем не трудно составить сборники грузинский, армянский, польский, финский и т. д.».

Так пропагандировал Горький дело, которому придавал важнейшее значение. Но организовать такие сборники при участии виднейших сил русской литературы ему удалось только в годы первой мировой войны. А в совегскую эпоху,

когда пали цензурные преграды, мешавшие пропаганде национальных культур, это дело явилось для Горького делом непрестанной заботы. Можно сказать, что не было ни одного большого организационного вопроса, с которым Горький не связал бы вопрос о культуре братских народов.

Рост культуры советских народов Горький ценил как величайшее завоевание. Гневом и яростью наполняла Горького одна мысль о возможности нападения на Советский Союз, и разоблачение поджигателей войны стало одной из постоянных и волнующих тем его статей.

Еще в 1928 году он писал о положении в Западной Европе:

«Жизнь становится все более отвратительна обнаженным цинизмом своим. Человеку нечем дышать... Атмосфера, все сгущаясь, грозит разразиться бурей, которая разрушит и сметет все культурные достижения человечества; против этой возможности работает только Россия».

И с возникновением угрозы фашизма, в 1932 году, писал:

«Наступил момент, когда и слепым, и глухим должно быть совершенно ясно, что безответственная кучка грабителей чужого труда, организация паразитов человечества грозит разрушить культуру...»

«Выдвигая на посты своих вождей авантюристов, прибегая к террору, как единственному приему самозащиты, немецкие лавочники объявили единственным средством спасения своего фашизм, т. е. организацию различных отбросов человечества в армию бандитов...»

Так характеризовал он процесс возникновения политической власти фашизма. Этих властителей Горький называл «дураками в коронах набекрень и со свинцовыми мозгами под черепом». «Все это — бред и агония смертельно больного».

Предвидя хищнические устремления фашистов, Горький утверждал, что они готовятся к новой мировой войне, поновому хотят перераспределить мир. «Мелким странам снова угрожает опасность... у них снова хотят отнять право свободного развития их культур».

Фашистская «теория права белой расы на единовластие в мире разрешает... рассматривать не только всех цветнокожих людей, но и белых своих соседей европейцев, как варваров, подлежащих порабощению и уничтожению».

И безумие хищников, подготовляющих на этой основе новую войну, «невозможно излечить красноречием, тигры и

гиены не едят пирожное. . .» «Человечество не может погибнуть от того, что некое незначительное его меньшинство творчески одряхлело и разлагается от страха перед жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого меньшинства — акт величайшей справедливости, и акт этот история повелевает совершить».

Можно сказать, что в эти годы, 1933—1936, с момента возникновения фашистского государства и до самой смерти своей Горький — в статьях, письмах, беседах, речах — не уставая разоблачал фашизм, ненавидя его сосредоточенной ненавистью. «Фашизм, — писал он, — наглейший разбой». «Фашизм — отрицание культуры, проповедь войны, крик обессиленного о желании быть сильным».

Фашисты «явились миру в виде совершенно обнаженном, без штанов, в собственной коже, как жабы» Бездарными авантюристами называл Горький фашистов, «вся сила которых в их циническом бесстыдстве и жестокости бешеных свиней».

«Мы живем в атмосфере ненависти к нам со стороны дикарей Европы. . . нам тоже нужно уметь ненавидеть. . .» «Ненависть, — писал Горький — должна воспитываться на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа. Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически и «морально». В этом вопросе на моей стороне данные статистики роста преступлений, данные психопатологии, сексуальных извращений. . .»

«Пред нами, — предупреждает Горький, — неизбежность нападения врагов, пред нами — небывалая по размаху война, которую организует сволочь. . . выродки истории, паразиты. . .»

«Имеем ли мы право. — спрашивает Горький, — ненавидеть этих одичавших, неизлечимых дегенератов — выродков человечества, эту безответственную шайку явных преступников, которые наверное попробуют натравить свой «народ» и на государство строящегося социализма?»

Подлинный гражданин Советских социалистических республик «не может не носить в себе созидательной, активной, героической ненависти к подлому врагу своему. Наше право на ненависть к нему достаточно хорошо обосновано и оправдано».

Так всегда и во всех своих высказываниях о фашизме Горький требовал безоговорочного уничтожения его, как позорнейшего явления, отравляющего мир.

И последняя большая статья Горького, написанная им за два месяца до смерти и посвященная литературе, также проникнута неугасимой ненавистью к фашизму.

«Фашизм, — писал в этой статье Горький, — по сути его, является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей, для воспитания их домашними животными. . .»

И в такой же мере, как велика была его ненависть к этому тупому, смрадному, враждебному всякому творческому началу явлению — фашизму, к «издыхающим грабителям земли», в такой же мере велика была его любовь к Красной Армии, опоре и защитнице самой великой силы на нашей планете — Советской страны.

«За всю трагическую историю Европы, — писал Горький, — Красная Армия — действительно народная армия, созданная не для нападения, а для самозащиты».

«Наше оружие не только в руках бойцов умной, отличной Красной Армии, оно в мудром, спасительном для всего мира учении Ленина — Сталина, оно в грандиозной работе развития и накопления трудовой и боевой энергии, необходимой для нашей самозащиты».

Об этой силе, об этой энергии советского бойца, питаемой творческими истоками страны социализма, Горький писал в красноармейской газете:

«Проходят мрачные времена, когда побеждала грубая сила грабителей. Теперь в мире растет бесстрашная разумная энергия пролетариата. Каждый боец должен чувствовать себя вместилищем этой непобедимой энергии».

Горький страстно хотел дожить до того времени, когда будет уничтожен фашизм, когда развеется над миром его кровавый туман, когда наступит решающая победа, которая покончит с этим ядовитым отребьем прошлого.

Это будет битва, писал он, где против армий «обманутых рабов» «встанет армия, каждый боец которой будет хорошо знать и чувствовать, что он бьется за свою свободу, за свое право быть единственным властителем своей страны. Этот боец и победит».

Призыв Горького к беспощадному уничтожению врага прозвучал в годы Великой Отечественной войны в приказе Народного Комиссара Обороны товарища Сталина:

«Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдается, — его уничтожают!»

Под великим водительством Сталина Красная Армия одержала над гитлеровской Германией еще невиданные, еще не-

бывалые в истории победы. Великий подъем творческих сил проявился и во всех областях народного труда. Этот подъем нравственных сил проявился и в мощной народной инициативе, призвавшей все силы жизни, души и таланта положить на заботу о Красной Армии, и в могучем техническом оснащении, и в гениальном изобретательстве, и в доблестном труде всего советского народа.

Еще и еще раз убедился бы Горький в силе своего народа и во всемирном значении его подвигов.

И сам Горький, его жизнь, его работа, его стремления, его гений — это наши богатырские былины, наша русская песня, наш могучий язык, наша национальная воля. Это — героический русский пролетариат, совершивший величайшую в мире революцию, это народ, поднявший сказочный труд сталинских пятилеток, это — наши победы, наша слава.

Д
И

Я
И
П

Ту
лу
в
ог
С

кн
со

но
ми
ра
мо

мо
са

сн
эн
веб

бу
ко
пок

раб
зна
пра
бое

про
На

Го

жал

Редактор *В. А. Десницкий.*
Художник Д. Л. Двоскин
Тех. редактор *Л. Л. Чалова.*

Сдано в набор 22 III 1946 г.
Подписано к печати 15. V. 1946 г.
М 02917. Тираж 100 001 экз.
Учетно-авт. листов 7,9. Печатных листов 8.

2-я типография „Печатный Двор" им. А. М. Горького треста „Полиграфкнига" ОГИЗа при Совете Министров РСФСР.
Ленинград, Гатчинская, 26.
Заказ № 538.

20 000 г

Цена в мягком переплете
3 р.